

AT

матрос
на мачте



Андрей Тавров

Матрос на мачте

НП «Центр современной литературы»

Тавров А.

Матрос на мачте / А. Тавров — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-101-0

Матрос на Мачте - Предлагаем вашему вниманию книгу под названием "Матрос на мачте". Автор - Андрей Тавров - поэт, прозаик, журналист, редактор поэтической серии издательского проекта "Русский Гулливер", а также главный редактор журнала "Гвидеон".

ISBN 978-5-91627-101-0

© Тавров А.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

Человек-фламинго	6
Красные рыбки	8
Порнография	11
Лука	14
Царица фей	18
Кузнечик счастья	22
Цецилия и госпожа Мартынова	25
Тетрадь	29
Тетрадь. Продолжение	32
Черный ангел	35
Сила и лев	37
Прелюбодейка	40
Башня	42
Стартовые условия	46
Две весны	50
Ангел	53
Приют	56
Рисковый человек	61
Земля Сеннаар	65
Сатир	70
Святой	76
Зеленый веер	81
Подруга	85
Лев-змея	88
Пустыня. (Подруга)	92
Очами, полными лазурного огня...	96
Незнакомец	102
Сакисё	104
Цыган	108
Цементный завод	111
Белые колокольчики	115
Рассказ постояльца Луки	119
Недостающий голос алфавита	123
Менины инфанты	127
Светка	131
Глухонемой	134
Ци-лин	137
Отсвет стеклянного дома	140
Кошка на заборе	143
Дед-свистун	146
Три истории про зеркало Снежной королевы	150
Осколки и уколы	154
Осколки и уколы изнутри	157
Конец ознакомительного фрагмента.	158

Андрей Тавров

Матрос на мачте

Вселенная – сосуд, содержащий в себе все: цветы и листья, снег и луну горы и моря, деревья и траву, живое и неживое. Всему – свое время года. Сделайте эти бесчисленные вещи предметом искусства, сделайте свою душу сосудом Вселенной... Тогда вы сможете постичь изначальную основу искусства – Тайный Цветок... Только у истинного цветка причины цвести и причины осыпаться лежат прямо в сердце человека.

Дзэами Мотокиё. «Предание о цветке стиля»

Эти звезды мне стезею млечной
Насылают верные мечты
И растут в пустыне бесконечной
Для меня нездешние цветы.

В. С. Соловьев

I want to be a sailor...

Песенка багдадского вора из одноименного английского кинофильма

Человек-фламинго

Чайка похожа на завязанный на память платок с узелком посередине, на серп и на бумеранг. Ты пил с утра желтый вермут с кубиками льда в приморском кафе, где крутились за стойкой катушки магнитофона, а напротив сидела загорелая дева ослепительной красоты с жидко-голубыми глазами, но это неважно. Потому что все дело в чайке. Она бела, как ноги, распростертые на кровати или траве, готовящиеся вобрать в себя то, на что в детстве стараешься смотреть поменьше и потом, во время секса, все равно стыдишься и не смотришь, потому что точно знаешь, что твои родители такими вещами никогда не занимались, так ты думаешь. Еще в чайке есть отсеки и ходы. Она прорыта твоей памятью, помнишь молочно-белое тело пловчихи, и если смотреть на нее из-под воды, уцепившись за камень на дне, то видно, как при входе тела вглубь она окутывается пузырями, повторяя форму отдельно взятого соцветия каштана, тяжелого, расширенного книзу, пузырчатого? Еще в чайке много от нижнего белья, но при этом она очень тяжелая и нелепая. Конечно же, в чайке есть что-то постыдное, что-то плотское, плоскостопно-телесное. Она, конечно, не маска, но хотелось бы, чтобы она была маской, тогда можно было бы разнять ее на настоящее и поддельное и сказать: вот это чайка, а это стыд и мишура, потому что со стыдом не будешь же жить долго.

Он шел по причалу. Сквозь деревянные рейки под ногами было видно, как там ходили зелено-серые волны. Такие плоские горы – то вздохнут, то выдохнут. Ах, как пахнут взбаламученные водоросли! Сколько можно человека бить, чтобы он потом не умер? С красоткой из кафе у него не будет ничего общего, хотя могло бы быть прямо сегодня. Странно, что ничего не произошло. Надо было взять ее за руку, когда они вышли из автобуса, и пойти не со всеми остальными, а просто свернуть на тропинку, ведущую в горы.

Скорее эту чайку следует воспринимать не как чайку, чтобы потом можно было вернуться и воспринять ее как чайку. Скорее это лучше выглядит, как розовый фламинго. Почему чайка не может быть розовым фламинго, а мужчина – женщиной или лодкой? Разве это важно, чтобы он был лишь мужчиной, и все? Да такое просто невозможно. Пусть он будет чайкой или розовым фламинго. Вы ведь воображаете во время секса, что под вами не жена, а школьница, и так оно и есть, но жена ваша думает, что вы – чайка, и она живет так. Вот я иду по рейкам причала как школьница или фламинго. Я могу выбрать, кем мне туда идти, где ошвартовался прогулочный катер, и расплывчатые как трясущийся студень солнечные зайчики гуляют по его белому борту, и тихо наигрывает музыка. Я знал одну девушку, которая утверждала, что она птица. Она накурилась марихуаны и стала взбираться на ограждение моста, чтобы полететь. Я ухватил ее за живот и стащил обратно, и мы свалились прямо на проезжую часть, а ночью лежали на ковре, и слышно было, как идет тихий снег и шуршит в сухих листьях дикого винограда на балконе, куда была открыта дверь. И я никак не мог в нее войти, просто глупость какая-то, как будто там не было входа. И она ушла потом в один из отсеков белой птицы, белой чайки и там разместилась. Потом я видел ее внучку и никак не мог поверить своим глазам.



У них действительно нет входа, йони, пчелы. Это наша память потом, чтобы мы не считали, что это так, и не сошли с ума от огорчения, придумывает, что был вход, экстаз, ф-фрикции, проникновение. Нет у них входа, это любой мужчина знает, и знает, что это единственная правда о телесной любви. Он потом будет припоминать, но на самом деле фантазировать.

У дома пахнет борщом, кто-то из соседей варит, и запах по всей улице. На балконе первого этажа я ищу взглядом дикий виноград и нахожу, хотя, может быть, это другой балкон. У подъезда стоит пожилая женщина с маленькой девочкой. Я спрашиваю, не здесь ли живет такая-то. «Люду муж зарезал в переходе, из-за квартиры», – говорит ее мать, а девочка жмется к ее ногам. В руке у нее надкусанное яблоко. «Это внучка Люды», – говорит мать. «Дочка?» – переспрашиваешь ты. «Внучка», – повторяет мать. Это не сразу укладывается в голове – внучка семнадцатилетней тонкой девочки в короткой юбке, от которой когда-то давно пахло фиалками и снегом. Почему ты тогда не взял эту девочку из-под ног прабабки на руки, непонятно, ведь то, что не совпадает ни с тобой, ни с фонарем, ни с кошкой, надо же как-то утвердить, запечатлеть, почувствовать ее вес на своих руках – наверное, она бы не испугалась, а ты успел бы вдохнуть в нее жизнь своим дыханием. Потому что дыхание одного утверждает другого. Надо было взять ее на руки. Ты бы ей сказал: «У меня в детстве была черепаха». Вообще, можно было бы попытаться ее удочерить, хотя бы в воображении. Или рассказать ей про снег, ковер и чайку. Хотя зачем? Все равно тут одно с другим никогда не сойдется. Но подышать на нее ты все же смог бы, нужно было это сделать. Это нужно было вам обоим, и мне хочется повернуть назад, вернуться, но вместо этого я иду на край причала и ложусь на доски, подняв голову над морем внизу. Я думал, что меня вырвет, но меня не вырвало. Потом я думал, что у меня изо рта посыплются какие-нибудь раковины, но они тоже не посыпались.

Но что-то же есть? Конечно. Есть склон горы, где были натянуты бельевые веревки, и на них вместо прищепок сидели стрекозы со слюдяными крыльями, а ты их ловил. И одна вцепилась тебе в палец так, что ты заорал от боли и страха. Я бы засунул это себе в живот и зашил как забытый инструмент, иначе это тоже куда-нибудь пропадет, не чтобы пропасть, конечно, а вообще пропадет, чтобы, может быть, так и пропасть не по закону подлости, а вообще пропасть.

Красные рыбки

Она нашла его по обратному адресу на почтовом конверте и приехала из другого города, ни о чем не предупредив. Целый час она просидела у дороги напротив их дачи, дожидаясь, пока уедут его жена и дети, а потом позвонила в звонок, надавив на кнопку, вделанную в крашенный зеленый забор, ржавую и похожую на приплюснутую пешку. Там, в своем городе, она смотрела на обратный адрес до тех пор, пока от ее глаз почерк не стал серебряным, а потом почувствовала толчок под коленки, словно сзади прислонили низкую скамейку. В Москве она перешла с Ленинградского вокзала на Ярославский и села в электричку. Там она несколько раз доставала письмо из сумки и перечитывала адрес, который теперь стал слюдяным, и когда она подносила конверт к близоруким глазам в толстенных линзах, прозрачность перекидывалась на ее руки и на правой доходила почти до локтя, и от этого косточке, из которой иногда «бьет электричество», было больно и знобко. Она разыскала его на даче, нашла.

Вечером они слушали музыку, он ставил виниловые диски на старенькую «Ригонду» и чувствовал себя неловко. Он даже не знал, был он рад, что она приехала, или нет. Когда ее не было рядом, в воображении он видел ее как фрейлину в кринолине, завитом парике и с крошечной родинкой на щеке. Что-то такое из «Фигаро» или «Фанфана-Тюльпана». Он был уверен в себе, что чист, и знал, что уложит ее спать в другой комнате, будет с ней любезен, как это и следует, когда твоя гостя моложе тебя на двадцать лет, а потом они поедут в Москву и он отправит ее домой.

На следующую ночь она пришла к нему, сказав, что холодно, и он смотрел на себя со стороны, как откидывал зеленое шерстяное одеяло в пододеяльнике, а она скользнула внутрь, прижавшись голой ногой, а он сопротивлялся до последнего момента, потому что думал о Боге, в которого верил, и все время скользил, как в детстве по ледяной горке, пытаясь ухватиться за промерзшие деревяшки, бегущие под пальцами по бокам санок, но нащупывал вместо них ее молодую грудь, и санки вынеслись на простор, и он влетел в нее, словно в ландшафт, со всего размаха. Но даже в этот момент он все еще пытался направить время назад, понимая, что это невозможно, и вот тут-то время споткнулось и остановилось. Он очень хорошо видел, как оно стоит, и это было похоже на аквариум, в котором можно было плавать туда и сюда, а время-вода все равно никуда не шло – лежало себе на поверхности всей своей влагой, и все, и только немножко вибрировало. Потом она закричала так, что он зажал ей рот рукой, опасаясь, что услышат соседи и наябедничают матери или жене.

Утром он достал две бутылки шампанского из холодильника, и они устроились на крошечном в резных завитушках балкончике, откуда был виден светлый угол вытоптанной волейбольной площадки за кустами бузины, а чуть подальше – лес с черно-рыжими ветками елей над поселковой помойкой. Светило солнце, и дерево балкона было мокрым. Они пили из чашек, и у одной была отбита ручка, а шампанское отдавало дрожжами.



Когда он впервые приехал в Москву, ему было лет шесть, и он тогда сразу с поезда попал в мастерскую отчима, огромную, со стеклянным потолком и картиной, висящей у входа на антресоли, на которой был изображен аквариум и три или четыре красные рыбки, частично удвоенные (одна со сломом) отражающей (сдвинув) поверхностью воды. Это была копия с картины Матисса, и он тогда понял, что всегда знал этих рыбок и любил их. Он стал спрашивать у матери, что это за рыбки, и, кажется, отчим тогда услышал вопрос и обиделся на всю оставшуюся жизнь, потому что интересовался он не им, знаменитым лауреатом, а рыбками, изображенными совсем другим художником.

На самом деле все, что мы воспринимаем, не является твердыми предметами. На свете нет ни одного твердого предмета, и об этом хорошо знают иероглифы, которые похожи на красную резину потому что сошли с мягкой и упругой кисти, которая все время пружинила, пока они проступали на бумаге.

Вот так и все остальное. Оно пружинит и перетекает друг в дружку – колодец, самолет, резиновые тапочки на бордюре бассейна. По большому счету этих предметов нет. И нет также руки или ноги отдельно, нет языка или щеки. Ты понимаешь меня? И телефонная трубка сказала: конечно. Ты откуда, из ресторана? Нет, я сам по себе. Ничего этого нет. Нет галки отдельно и нет забора под ней отдельно. Нет отдельно мужчины и нет женщины. Но мы почему-то видим все отдельно: деньги, песок, любовь. Мы их видим как твердые предметы. Даже

любовь – это твердый предмет, ну может, слегка подтаявший, и от этого лужа, и она пахнет сам знаешь чем. Или вот еще Моцарт. Он тоже подтаявший, потому что его не удастся заморозить. Ты что же, решил, что мы с тобой все вокруг заморозили? Вот-вот, ты меня правильно поняла. Мы тут все заморозили, короли и королевые снежные.

– Знаешь, – сказал он, – пойдем вниз.

И когда они сошли, сказал: давай танцевать. И они стали танцевать среди грядок с черной смородиной и увядшей клубникой. Он поднимал руки над головой и бил правой ногой в землю, потом поворачивался вокруг оси, нелепо и старательно, и снова бил в землю, но уже другой ногой. Он помнил молочно-теплую внутреннюю сторону ее бедер, но гнал воспоминание прочь.

– Что вы делаете? – смеялась она.

– Что это за танец? Скажи на английском, – попросил он.

– What? – спросила она. – What? – она все время смеялась.

Он снова ударил ногой о землю и медленно, образуя внешний круг правой ногой, стал поворачиваться в противоположную сторону.

– Это вторая, – сказал он.

Она пыталась попасть в его неуклюжий ритм, и у нее получилось. Ее щеки разругались, рот был water shine.

Он еще раз повернулся, споткнулся о бурый кирпич, торчащий из дорожки, и чуть не упал, но выпрямился.

– Третья, – сказал он.

– Что? – спросила она.

– Мы с тобой станцевали танец трех красных рыбок, сказал он ей. Их, вообще-то, не существует, добавил он, закуривая смятую сигарету. Но они должны же располагаться. Ну как-то организовываться – одна вторая, третья. Понимаешь, если они не будут располагаться и организовывать, тогда вообще не понятно, что и зачем. Он немного задышался. Он видел, как они поплыли. Они пришли из-за березы, и теперь плавали между ним и ней, и когда она открыла рот, он сказал, закрой, а то галка влетит. На самом деле он испугался, что в рот заплывет рыбка. Достаточно в нее заплывать на сегодня. Достаточно одной теплой жидкости на них двоих. Она, наверное, до сих пор внутри нее.

Вечером он затопил печку и смотрел, как кисть руки в свете огня медленно превращалась в рыбу.

Порнография

Когда он ходил по сайтам, обнаженные женские тела горели с экрана как лампы. Он делал это, потому что время переставало существовать. Еще потому, что вместе с ним уходили мысли, которые, как дикие осы вокруг дупла, вились вокруг его головы, пролетали ее насквозь, застревали пучками в волосах и там умирали. Комиксы медленно опускали оранжевую створку, и он видел, как дева в платье по колено, так похожая на давних подруг его матери, утрачивала часть гардероба и темный бюстгальтер на тонких бретельках больше демонстрировал, чем скрывал ее грудь. С нетерпением дождавшись, пока оранжевый занавес на следующей картинке уйдет, он вместе с безликим мужчиной, одетым в свитер и серые брюки, приближался к запретному и тайному, чтобы прикоснуться к нему, припасть, поглотить, затеряться. Вот тут-то, на этом самом переломе, и возникало то ощущение, которое он никак не мог определить. Что это было, он не знал, – энергия? сексуальное вещество? похоть, которая еще не успела стать просто похотью, и поэтому пророчила открыть самые главные тайны мира? Но вещество это существовало меньше чем несколько секунд, потому что на следующей картинке один из мужчин, нажимая на женский затылок, заставлял ее поглотить его напряженный фаллос, а второй в это время вводил свой амулет между ослепительно-мраморными ягодицами фотонатурщицы. Событие происходило чаще всего в интерьере условного дома с непременно диваном, а иногда и просто на кухне среди подлого набора стандартной мебели. Следующие картинки неотвратимо приводили его к взрыву, после которого изображение выцветало на глазах, и он видел перед собой неприятных, пожилых и не очень-то хорошо сложенных бедолаг, которые за какие-то, видимо, не очень большие выгоды позируют перед камерой с вздрюченными членами вместе с несчастной девкой, у которой, как он успел заметить еще раньше на одном из ракурсов, вся левая рука была истыкана шприцем до синевы.

Он думал, что если бы ему удалось выделить это вещество, то он стал бы самым большим властителем в мире мужчин и женщин. Но не это было главным. Главным в этом веществе была его манящая тайна, способная что-то сделать с невыносимым миром вокруг него. Он почти чувствовал его невесомую, шуршащую вязкость – что-то среднее между цветочной пылью, питьевыми дрожжами и чулками с люрексом. Потом он подумал, что это не фантазия. Раз он чувствует это вещество, значит, так оно и есть – просто оно выделяется не между ним и изображением, а внутри него самого. И если однажды туда проникнуть, то, возможно, несколько крупниц можно будет вынести и наружу.

Иногда он попадал на сайты, обозначенные как *sadomazo*, но долго там не задерживался. Сайт *incest* его загипнотизировал. Любовь матери всегда казалась ему неполной, незавершенной и ускользающей, лишь намекающей на окончательную небывалую радость, и теперь (под воздействием безымянного вещества) он мог ясно наблюдать, как она завершалась в полной материнской самоотдаче, которую она предлагала своему ребенку, вздымаясь до самых звезд и уходя темными толчками к центру земли. Ему хотелось кричать от ужаса и восторга перед несомненным блаженством найденного. Он заворуженно наблюдал (на пике медикаментозной интервенции чудо-снадобья), как дочери ласкали своих отцов, а те гладили нежные, еще неопределившиеся и как бы припухшие их груди, похожие на снежные холмики, воспетые некогда Бернсом, для того чтобы в конце концов выплеснуть в девичьи недра, внутрь того, что от них же и произошло на свет, свою мужскую порождающую энергию, повторяя и чудовищно утверждая в дочери то, что уже однажды было сделано, казалось бы раз и навсегда, чтобы девичья жизнь эта возникла на свете.



Сайты zoo или female его не очень интересовали. Лесбийские тела казались обладателями большей тайны, чем все остальные. Тайна же эта была сокрыта в неведомом веществе, а вещество и было этой тайной. Однажды он его получил. Оно было похоже на маленького человечка, и от него пахло «Дольче-Габбаной» и только что выстиранной рубашкой.

Потом неделю он болел и страдал, зная, что сделал что-то грязное, недопустимое, тяжелое. Женщины на улицах, не ведая того, повторяли позы, принятые ими на экране, девочки в метро и на улицах мучили его и жгли одним своим присутствием, и ему иногда хотелось совратить хоть одну из них. Но он этого не сделал.

Как-то ему подарили велосипед, и ночью он вытащил его из дачи и поехал кататься. На узком шоссе-бетонке, делающем поворот перед церковью рядом с мостиком, откуда, слепя фарами, вывернул огромный грузовик-дальнобойщик, он попытался уйти вбок, но не успел. Грузовик промчался мимо, и снова все стало тихо и ясно. Он лежал на обочине, отброшенный туда толчком, и смотрел, как крутится, поблескивая спицами под светом фонаря, велосипедное колесо. На колесо села жар-птица, прямо в самый его центр, на неподвижную втулку, и сказала ему: мой дорогой мальчик, ты ни в чем не виноват. Знаешь, ты, вообще-то, никогда и не был ни в чем виноват, и все остальные люди тоже никогда и ни в чем не были виноваты. Вы глупы. Вы на самом деле, хотя и не знаете этого, никогда не рождались и никогда не умирали, не грешили и не убивали, вы на самом деле просто любили друг друга, но по-другому не умели этого выразить. Вам бы жить попроще. Смотри, что я тебе принесла. Это может собрать все, что разлетелось на части, обратно. И она протянула ему в ржавом клюве целый наперсток чудо-вещества, воскрешающего из мертвых и возвращающего сердца детей матерям и сердца отцов детям. И он мог бы намазать им свои волосы, в которых жужжали дикие древесные осы, и встать с земли и снова сесть на свой велосипед. Жар-птица была похожа на феникса, потому что ее окружал бледный огонь, и на Любу – смуглую сестру его друга Юрки, который в детстве жил с семьей в бараке напротив, а она, разговаривая с ним, сидела на подоконнике, свесив загорелую босую ногу, и он понял, что раз так, то это – путешествие. Колесо крутилось и втулка была неподвижна.



Он еще успел отправить письмо в Хабаровск, но, может быть, оно не дошло:

Как бы мне хотелось сложить в световой снежок наши пруды с плавающими по серебряно-темной ряби утками, горящий костер, когда холодно, и можно постоять рядом и согреться, и только огонь и ты – оба живые, и еще мостки через протоку, черную и словно в пыли, с выросшими летом камышами, и как они постепенно чернеют и съеживаются к зиме, и как чайка летит, хрупкая как алебастр, белая, над самой поверхностью воды, а влага с отраженным облаком рябит перед ней от рассыпающихся в страхе мальков, и кажется, она хочет слиться со своим отражением, и между ним и ей словно натянуты невидимые резинки, такие, как у китайских мячиков, и она то растягивает их с риском для хрупкого своего фарфора, отдаляясь от своего двойника, взмывая ненадолго вверх, к небу, то сокращает, притянута отражением... – как бы мне хотелось закатать все это в снежок света и кинуть Вам прямо в ладонь...

Лука

С каждой встречей тебя на одного больше. Непонятно, как это происходит. Остается констатировать факт, признать положение вещей, принять, так сказать, статус-кво.

Лука стоял на крыльце и смотрел на гору, которая росла к небу на той стороне ущелья. Наверху позванивали от ветра буддийские колокольчики, и казалось, дом вот-вот поплывет. Перед ним на перилах крыльца дымилась чашка с кофе. Его принесла хозяйка, зная, как мучительно Лука просыпается каждое утро. По вечерам он много читает. Она его понимала, потому что была колдуньей, или, как говорила она сама непосвященным, народной целительницей. Брат ее пил и приходил по вечерам к ней за деньгами, и она ему их давала. Поселок невелик, и все они тут друг друга знают, не знают только его, не знают, зачем он здесь и почему не уезжает.

Сейчас он выпьет эту горькую горячую жидкость, выкурит сигарету, а потом пойдет по тропинке в горы. В магазине с прилавком на дорогу он купит «Боржом» и триста граммов козьего сыра. Сначала его будет немного пошатывать, но потом ноги окрепнут от воздуха и движения, и через час он доберется до второй турбазы. Там он присядет в траву, прислонясь спиной к стене альпийского домика, и выкурит еще одну сигарету. А потом он встанет и пойдет дальше. Он бы и не ходил сюда, но, когда каждый день в ухо шепчет один и тот же ветер одно и то же слово, понимаешь, что в кои-то веки добрался до чего-то стоящего, и даже если для этого придется прыгнуть с горы вниз головой, он прыгнет. И даже то, что его существование разделяется, размножается на несколько человек после каждой встречи, его не остановит. Ведь, если надо, и все остальные тоже прыгнут с горы вместе с ним.

Когда в детстве он поймал темно-фиолетового мотылька, он долго разглядывал на ладони помятое насекомое и с каждой минутой чувствовал, как меняется. Темный цвет, похожий на изнанку глаз матери, делал его все более счастливым и косматым, а через полчаса у него выросли хрустальные рожки. Они пропали так же быстро, как и появились, но он хорошо запомнил жжение в темени и приятных холодов двух хрустальных пирамидок. Этот цвет что-то скрывал. Есть такие вещи, которые существуют не сами по себе, а лишь для того, чтобы что-то скрыть. Иногда, в лучшие минуты, ему казалось, что весь мир существует только по той же самой причине, но потом это ощущение утрачивалось, и он стыдился говорить об этом.

В этот раз было не так, как вчера. Сначала он вышел на счастливую полянку, и депрессия сразу же ушла. Прошла голова, и утихло сердце. Глаза очистились и прояснились. Он услышал, как течет река и поют птицы. Пятна света на траве были горячие и яркие. Потом прилетела бабочка и, как у Овидия, стала расти. Медленно развернулись ее темно-синие крылья и стали воздушными, как будто две простыни воздуха внезапно потемнели и уплотнились, но плотными так и не стали. Потом они свернулись в синий плащ, обвитый словно бы вокруг женской фигуры. То, что фигура была женской, было видно сразу, и он никогда, даже в самый первый раз, не пугался. Потом полы плаща приоткрылись, и он увидел лицо под капюшоном. Первый раз он думал, что губы сильно накрашены, но потом понял, что она никогда не красит губ, потому что просто не может этого сделать. Она вообще очень многого не могла. Например, она не могла стать такой же плотной, как он, хотя он этого почти никогда не замечал, а если замечал, то лишь радовался этой ее неосязаемости и шептал своими толстыми губами слова благодарности Богу или судьбе. Также она не могла пойти вместе с ним вниз, хотя он несколько раз предлагал ей это. Она не могла стать окончательной явью, все время соскальзывая то в сновидение, то в затмение, но тому виной был он, потому что это он соскальзывал то в сон, то в затмение, а когда ему казалось, что он все видит ясно, она исчезала. Потому что наша ясность для нее слепота, – это Лука не то чтобы понял, а почувствовал своей милицейской печенкой. Иногда он подозревал, что тоже не мог стать для нее полноправной реальностью, и время от времени выпадал из ее зрения, но не винил ее в этом. Он понимал, что дело опять

в его способе видеть и слышать. Ему даже казалось, что когда она перестанет растворяться в боковых коридорах его зрения и будет видна все время отчетливо, он сможет увести ее вниз или подняться с ней туда, где она живет все остальное время.

– Дорогая моя, – сказал Лука и поразился, как красиво прозвучали эти глупые слова, которые он раньше старался не произносить.

Глупые люди сказали бы, что он имеет с ней секс, но они ничего не понимают. Потому что то, что их делает одним и тем же, это совсем не секс. Это скорее напоминает ветер, или корабль с парусом, или как если ты бежишь по роще и встречаешь чурку-чеченца, а тот, сука, выхватывает из-за спины топор и бьет тебя прямо в лоб, и ты слышишь, как хрустит твой лоб, и готовишься умирать, но вместо этого видишь, как красота охватывает мир со всех сторон, как пламя – подожженный с четырех сторон барак. Он никогда не думал, что слово «красота» что-то значит. Иногда он сам говорил про шашлык или пляж: красота, но он был тогда не таким, как сейчас.

Еще она не хочет избавляться от крыльев, но это ему совсем не мешает. Еще она не может быть несчастной, даже когда грустит. И если он проникает в нее во время любви, то он видит все сразу – как, например, в детстве он поймал жука-носорога и тот с неожиданной силой стал разжимать его кулак, карябая пальцы своими ветвистыми ногами; и в то же самое время он видит, как идет снег над Парижем, в котором он никогда не был, но он точно знает, что это Париж; он также видит, как его отец появляется на свет, а вокруг хлопочут какие-то тетки и акушерка; видит, как от силы звезды глубоко под землей завязывается камень-алмаз и трескается, когда звезда гибнет; как тонет какой-то корабль с надписью по-английски в ледяных водах океана, а пассажиры пытаются забраться в шлюпки; видит хлопок воздуха одной ладонью; сны розы; видит губы воды; завещание фараона из слов, превратившихся в сосульку; реку Дунай, вытекшую из-под разможенного затылка; давно истлевшую руку рыцаря-храмовника, входящую в металлическую перчатку; свадьбу эльфов; расстрел гадов-власовцев, хотя и понимает, что они больше никакие ему не гады, а они и есть он сам, и всегда так было, а все, что он видел раньше, был обман; и еще след змеи в песке; и как сделаны снежинки; и слышит голос соседки и своей бабки рядом с сараем, в котором он, тогда мальчишка, прятался с голой девочкой из Москвы; и как его увольняли с работы, но он остался.





– Лапочка, моя, – шепчет Лука, – деточка, козленочек, матрешечка...

А то, что нас становится все больше, я понимаю почему – потому что это наши дети. И каждый рождается уже прямо с тобой в руках, чтобы не надо было ему проживать всю эту тягостную и бестолковую жизнь в поисках тебя.

Царица фей Перевод на современный русский

Они принимают нас за бабочек или фей. Они не могут понять, почему не в состоянии разглядеть нас как следует, и не видят наших лиц, глаз или рук, а тем более не имеют возможности охватывать взглядом все наше «туловище» вместе с крылышками целиком. Некоторым из них кажется, что им удалось разглядеть наши губы, которые большинству кажутся сильно накрашенными, хотя это не так, но что еще могут подумать существа, представление о красоте для которых всегда было и будет связано с услугами той или иной парфюмерной или модельной фирмы. И если речь идет о женской красоте – а они считают, что именно с этим типом красоты они сталкиваются, встречаясь с нами, – то для того, чтобы как-то зафиксировать ее признаки в своем сознании, они обращаются к таким несомненным для них мнематическим приемам, как проговаривание названий и брендов вроде *Hermes, parfum spray Calehe, Jacomo de Jacomo* или *Issey Miyake*, если речь идет о состоятельных женщинах, а вернее, если их идентификация нас требует участия на заднем плане некоего образа состоятельной женщины, или (если сзади стоит более демократичный женский персонаж – продавщица или трудяга-модель второго плана) прибегают к опознавательным признакам типа *Le Jardane, Body Lotion Parfume* от *Max Factor* или *Roshas, Globe deodorant*.

Странно, что они так и не задают себе единственно стоящего и принципиально важного вопроса – почему они не могут нас видеть целиком. Ведь никто из них не мог похвастаться, что видел хотя бы кого-то из нас, как видит он, например, жену или любовницу – целиком, при свечах, от мизинца ноги, потом следуя по изгибу икры через поцелуй бедра, там, где кончаются чулки и выше, – к золотому мху лобка и так далее, вплоть до лицезрения темени – если уж мы договорились вести о нас речь в женском роде, хотя это и не обязательно. Мы не знаем, почему они так поступают. Вероятно, то чувство, которое они испытывают, когда прикасаются к нам, настолько для них радостно и важно, что все остальное блекнет перед настойчивым желанием вновь и вновь его испытывать. Поэтому они предпочитают думать, что столкнулись с каким-то природным полусказочным духом или явлением, например феей-златовлаской или царицей бабочек. Одна из нас (я) во время путешествия в обратном времени из Китая в Краков 1999 года села передохнуть на полдороге и тотчас обнаружила, что сидит на велосипедной втулке упавшего велосипеда, а спицы вокруг нее крутятся с бешеной быстротой. Велосипедист, лежащий тут же, рядом, воспринял ее присутствие в образе жар-птицы, и она это видела отчетливо, потому что отчетливее всего мы видим боль и страсть человеческих существ, а потом – следуя по нисходящей линии – их фантазии, воображаемые образы, музыку и стихи. И уже в самом конце такие чувства, как зависть, похоть, ненависть, ревность, – их мы почти совсем не различаем. Ну и еще мы лишены хоть какой-то возможности постигнуть то, что они называют материей. Причем, если живую материю мы видим отчетливо – облака, деревья, птицы и животные являются нам во всем их ангельском сиянии, – то материю искаженную, сформированную человеком или умирающую благодаря человеческим мыслям, формирующим ее, мы не видим совсем. Нам так и не удалось, к примеру, увидеть то, что они называют «тело», «альфа-ромео», «лексус», «вертолет», «марфуша» или «ка-лаш». Впрочем, тут нужно сделать существенную оговорку. Если, прикасаясь к тому, что они называют «тело» или даже «чулки», «белье», «плечо» или «волосы», они начинают испытывать то, что на их языке звучит как *fuck*, «траханье», «интерес», «секс», а на нашем примерно как *love* или *amog*, так вот, если это чувство излучается достаточно интенсивно, то мы можем различить в его свете, а вернее, в его отражении, в его покрове, все эти перечисленные предметы. Поэтому я и могу говорить о том месте ноги, где кончается чулок, или о темном темени с кудрявыми волосами, его окружив-

шими, и серебряной заколке в них. Там, где этого чувства нет, мы не видим ни тел, которыми они сводят друг друга с ума, особенно в молодости, ни денег, ни автомобилей. Словом, всего того, что для большинства из них по важности имеет первостепенное значение.





То есть мы можем до какой-то степени реконструировать мир, в котором они живут, и мир этот для нас непригляден. С учетом изъянов нашего восприятия по отношению к нему мир это выглядит как неоднородное вещество со множеством пробелов, изъянов, пещер, провалов, усечений, культей, скважин, дыр, тоннелей и т. д. Больше всего он похож на огромную голову сыра, над которой изрядно поработали мыши.

Все вышесказанное приняло ту форму, в которой ее может воспринять человек, благодаря усилиям и мастерству нашего переводчика – существа, которое можно назвать одновременно и нами и ими, а вернее, принадлежащим и к нашему, и к их роду. Оно родилось от смешанного брака между нашей Царицей-Бабочкой и особью их породы. Такое случается крайне редко, но тем не менее иногда происходит. Мы не придаем этому большого значения – не радуемся и не печалимся. Мы встречаем такие существа тихой улыбкой.

Задача же переводчика заключалась в том, чтобы перевести этот фрагмент с языка нашего, больше похожего на бесшумную музыку, на их язык, который они, впрочем, используют в его самой плотной, варварской и увечной форме, причиной каковой сами же и послужили. Словом, они имеют дело с карикатурными и изувеченными остатками того наречия, которым пользовались их дальние предки.

Как я уже сказала, после посещения Китая я направилась в Краков, причем двигаясь в обратном от их вектора направлении времени, потому что меня заинтересовал этот человек, лежащий на обочине, и мне захотелось узнать о нем побольше. Мне это удалось. Сознаюсь, меня взволновало одно его неотправленное письмо, потому что в том месте, которое он в нем описывал, в конце их прошлого века я (совпадений между нашими и вашим мирами значительно больше, чем вы можете себе представить) была невольной свидетельнице и участнице самого возвышенного и в то же время самого карикатурного и смертельно-смешного романа на свете. Речь тут идет об одном русском профессоре по имени Соловьев, гении и бродяге, и его чувствах к некоей особе, которая в летние месяцы жила с семьей как раз в тех дачных местах, где велосипедист, лежащий на обочине, некогда наблюдал алебастровых чаек над водой.... Это

недалеко от Москвы, в девяти километрах от станции Сходня, и поместье возлюбленной философа называлось тогда Иевлево-Знаменское, а ныне в том, что от него осталось, базируется часть ОМОНа. Что это такое, я не знаю. (Про километры я поняла, потому что любящие обожают, когда их – километров, миль, метров и сантиметров-миллиметров – становится между ними все меньше и меньше, про поместье тоже, ибо в поместьях происходило множество дивных любовных историй, а про ОМОН нет. Вероятно, его никто никогда не любил. Так что слово это на совести нашего переводчика.)

Один из людей – поэт, кажется германский, – сказал, что мы не проводим различия между живыми и мертвыми, и в определенной степени это так. Потому что мы и тех и других видим одинаково, что и соответствует реальной, а не фантомной действительности. Мы их видим ясно и отчетливо. Но вот, например, «Дукатти» последней модели лично мне разглядеть так и не удалось...

Кузнечик счастья

Я сижу с тобой на площади Сан-Марко в том самом уличном кафе «Флориан» в стиле рококо, где один русский поэт купил бутылку после закрытия, и об этом написано в путеводителе, но мало ли где русские поэты покупали бутылки после закрытия. Я покупал их у стрелочницы в поселке Зеленоградская, в первом ночном магазине в Москве, куда пришел с вокзала в носках (это в ноябре-то), на троллейбусной остановке рядом с парком Павлика Морозова, где существовал тайный уличный рынок в эпоху борьбы за трезвость, в бетонированном гараже, похожем на подземный аэродром, под высоткой на площади Восстания, в ауле за перевалом с жуткого похмелья, в ресторане навынос, в буфете катера при пересечении абхазской границы, а также там, где никому никогда и ничего еще купить не удавалось. Я покупал их в горах, низинах, на улицах, в ночных ресторанах, с рук, в самолетах, у железнодорожных проводников и теток за зарешеченными прилавками тогда, когда занавес упал так, что его уже никто не в силах был поднять, даже и не пытался. Но мы делали это вместе с кузнечиком счастья и серафимом удачи-во-что-бы-то-ни-стало. И делали это, когда всё уже в силу истекшего времени настолько закрылось, что никакой «Флориан» открыть то, что закрылось, не смог бы, даже если б и сильно захотел.

Перед нами круглый мраморный столик с вазочкой, полной растаявшего мороженного, две чашки капучино и бокал просекко. Солнце падает на мраморную столешницу и твои плечи. Твои глаза – жидко-синие – на загорелом лице смотрят то на голубей, то в сторону лагуны, то на меня, и тогда наши взгляды встречаются и мне делается не по себе от радости. Легкий запах духов, кажется Insolanse. Блондинкам они к лицу, почти всем. Впрочем, в том случае, если у блондинки северная душа, а они нацелены на юг, возникает призыв жженого масла и паганиниевской канифоли. Неважно, что я говорил тебе только что – про кузнечика счастья или марионетку Клейста, – я сползаю. Я сползаю со стула от твоего жидко-синего взгляда, похожего на аквамарин на темной витрине в луче солнца, я хочу остановить это путешествие своего тела, но оно умнее меня и перестало мне повиноваться, я сползаю. Я сажусь на камень пьядцы и обнимаю твои ноги в коротких, до середины голени, белых брюках. Я улыбаюсь до ушей. Я утыкаюсь лбом тебе в колени и понимаю, что мне ничего больше не надо. Я всегда ждал чего-то подобного, но всегда боялся, что когда это произойдет, я могу – и скорее всего, все будет именно так – я могу ничего и не почувствовать. Все эти чудесные вещи – Венеция, Сан-Марко, наедине с возлюбленной, голуби (ля палом адыё) – произойдут, а со мной ничего не произойдет, все будет как в музее, когда волшебные вещи живут сами по себе, а ты – сам по себе. И я живу сам по себе в строе все тех же с ума сводящих перепутанных мыслей о ненаписанных страницах, об утраченном времени, о глупом выражении лица туповатого и хитрого таксиста-итальянца, похожего на собаку. И я буду обнимать самые теплые и длинные ноги на свете и при этом чувствовать лишь шершавость ткани и прислушиваться к матерной русской речи, долетающей с той стороны площади. Такой стареющий Гамлет, страдающий одышкой у ног Офелии, и мой мозг отметит, что я снова смотрю на себя со стороны и снова не живу, а сплю и вижу сны.

Но, видимо, я неожиданно и чудесным образом проскочил сегодня незримый мост, зеленый от деревьев виадук, и все стало просто. Счастье – это то, что есть, то, что происходит прямо сегодня и прямо вот здесь. И не с кем-нибудь, а именно со мной. Этот тонкий профиль с чуть вздернутым носиком, рука, гладящая мои волосы, запах водорослей – волна света и мурашек, бегущая от теплого камня по ногам, чтобы мягко вылететь из темени радужным фонтаном, над которым витает, раскрыв крылья, мой кузнечик-во-чтобы-то-ни-стало, а меня, слава Богу, нет вообще, а есть только эти глаза, два круглых колена и рука на моей голове.

На тебе витые, в ремешках, босоножки, и я смеюсь и шучу по этому поводу. В твоих глазах залив в лодках и гребешках, когда ты, вытянув ноги, разглядываешь их, словно Венеру Милосскую, только что извлеченную с мутного дна и его водорослей на поверхность, а я сижу на камне и тоже разглядываю твою легкомысленную обувь. Потом ты говоришь: я всегда хотела тут быть с тобой. Я вот что скажу тебе, и ты понижаешь голос, ты мой ангел, которого я всегда знала и о котором всегда просила Бога. Ты замолкаешь, уstraшенная чудовищной напыщенностью сказанного, но мне становится еще лучше и веселее от этих слов: ура бархатные театральные ложи! да здравствуют банальные как дождь фразы! ты счастье мое на щедрой царской ладони истоптанной и зацелованной солнцем главной венецианской площади... И пусть играет оркестрик, шаркают шаги прохожих, гуляют голуби и тает мороженое. Ты утыкаешься мне лбом в плечо. В твоих волосах золото и свежесть.



Потом ты шепчешь: ответь ему, и я догадываюсь, что ты тоже видишь, как к нам подходит ангел с весами и вектором, переставляет гири на чашках весов и меняет вектор. Он говорит, что время пошло в другом направлении, и к этому стоит прислушаться. Ты говоришь: видишь? – и я закрываю глаза и медленно чувствую, как проясняется темнота, и тогда различаю человека, лежащего на диване. Его глаза закрыты зеленым полотенцем, в ушах желтые заглушки, купленные в аптеке, и он равномерно дышит. Я стараюсь догадаться, кто это, и понимаю, что это я сам – четыре года тому назад, стремящийся создать свое будущее при помощи молитвы, мыслей и любви. Я лежу там совсем один и создаю картинку, где мы с тобой (а тогда я еще не знал, как тебя зовут, перепробовал много имен – Анна? Лариса? Электра? Аннабел Ли? – но ни одно из них не ложилось, не подходило) сидим за столиком на Сан-Марко, и вот я лежу сейчас на диване и вижу, что ты, моя единственная красавица, склоняешься ко мне, слегка постаревшему, но совершенно счастливому, подтянутому и загорелому, сидящему на камне площади у твоих ног, и шепчешь: помоги ему. Помоги ему понять, что у него все вышло, что мы уже вместе в будущем, что все произошло, потому что он не в силах в это поверить до конца. Он думает, что снова у него ничего не получится, что все кончится как всегда ничем, что он слишком стар, одинок, почти нищ и никому не нужен, кроме двух-трех друзей. Скажи ему! Да. Скажи ему. Так, чтобы он услышал и поверил. И я говорю: не волнуйся. У тебя все выйдет. Уже вышло. Скажи о себе Я, Я. Почувствуй это, почувствуй, что ты – это я. Итак – Я... И ты говоришь – Я... И ты говоришь: я сижу...



Я сижу с тобой на той самой площади Сан-Марко и в том самом уличном кафе «Флориан» в стиле рококо. Один русский поэт покупал тут бутылку после закрытия, и об этом написано в путеводителе, но мало ли где русские поэты покупали бутылки после того, как занавес падал. Я покупал их у железнодорожной стрелочницы в поселке Зеленоградская, в первом ночном магазине в Москве, куда пришел в носках (это в ноябре-то), на троллейбусной остановке рядом с парком Павлика Морозова, где существовал тайный уличный рынок в эпоху борьбы за трезвость, в автопарке под высоткой на площади Восстания. Я покупал их в горах, низинах, на улицах и в ночных ресторанах. Мы делали это вместе с кузнечиком счастья и серафимом удачливо-что-бы-то-ни-стало...

Я сижу с тобой на площади Сан-Марко... Перед нами круглый мраморный столик с вазочкой полной растаявшего мороженного, две чашки капучино и бокал просекко. Солнце падает на мраморную столешницу и твои плечи. Твои глаза – жидко-синие – на загорелом лице смотрят то на голубей, то в сторону лагуны, то на меня, и когда наши взгляды встречаются, мне делается не по себе от радости. Легкий запах духов, кажется Insolanse. Блондинкам они к лицу, почти всем. Только в том случае, если у блондинки северная душа, а они нацелены на юг, возникает призыв жженого масла и паганиниевской канифоли. Неважно, что я говорил тебе только что – про кузнечика счастья или марионетку Клей-ста, – я сползаю. Я сползаю со стула от твоего жидко-синего взгляда, похожего на аквамарин на темной витрине в луче солнца, я хочу остановить это путешествие своего тела, но оно умнее меня и перестало мне повиноваться, я сползаю.

Цецилия и госпожа Мартынова

Они приехали в Краков, и на второй день Шарманщик поссорился с Надей. Сначала они жили в женском монастыре, насельницы которого посвятили себя неблагополучным семьям – пьяницам всяким, наркоманам, блядунам, и настоятельница подарила им по пластмассовым четкам – ему и Наде, а потом пошел снег, и они гуляли по парку. Из парка выросла башня, огромная, темная, массивная такая, кирпичная – дальше начинался старый город с развешанными поперек улиц рождественскими гирляндами. В тот день они и поссорились, Шарманщик не любил, чтобы им командовали, а Надя не могла, да и не считала нужным избрать иной стиль жизни. «Что я тут делаю?», – спросил себя Шарманщик, идя назад в город. Он часто задавал себе этот вопрос последнее время, все равно где. «Зачем я тут?» – спрашивал он дом, снег и костел возле рыночной площади. Потом он пошел в музей и долго стоял перед Цецилией Галерани, которую Леонардо изобразил в ее семнадцать лет с горностаем в руках. Может, и спросил он у дивной этой девушки с золотой звездой в сердце и пластмассовым котом в ногах, зачем он сюда пришел, а может, не стал спрашивать, а так постоял. Потом он выбрался на светлую улицу и долго размышлял, кто бы это мог переписать Цецилии руки и зачем он это сделал. Леонардо он любил и боялся и считал, что тому не повезло, раз его можно бояться. А в Цецилию он влюбился и понял это лишь через час, когда ходил по Кракову с ангелами в подвенечных платьях, белеющих из стеклянных витрин, как будто бы и они – снег. Небо было похоже на стадо тюленей, и из него шли перемежающиеся перламутровые лучи. Теперь он знал, что ему только казалось, что он любил Надю, да и раньше-то он в этом сомневался, а на самом деле он любил Цецилию Галерани. Он знал, что может вызвать ее из темного зала на втором этаже, где она сколько уж лет висит с переписанными своими руками и ничего не может сделать. Он мог бы сказать ей про снег, урны и краковских пляшущих бумажных человечков. Она была бы похожа на плотву, шевелящую слюдяным хвостом над тротуаром, а он говорил бы ей тихо слова, от которых она так и не сумела бы стать рыбой, а осталась бы живой девушкой. И руки у нее постепенно, пока они шли по улочкам и площадям, становились уже не подмалеванными, а прежними, как было тогда, когда она взяла на них горностаю.



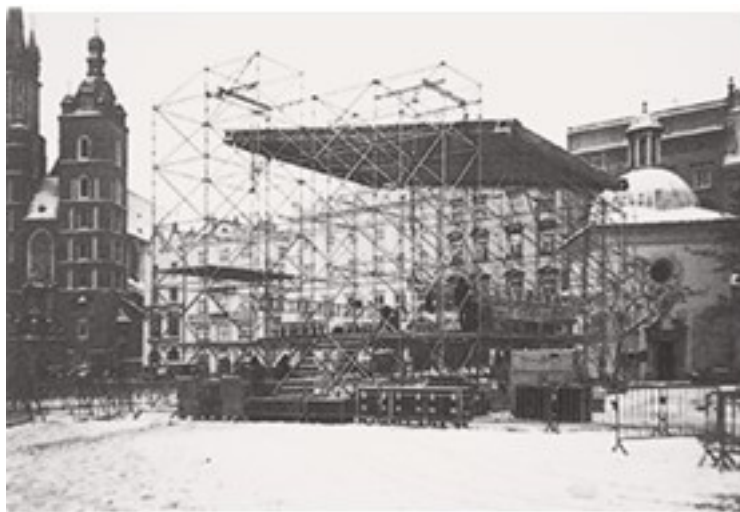
Уже потом, намного позже, он узнал, что Надя заказала в ту рождественскую ночь номер в какой-то шикарной гостинице, выложив немало золотых, чтобы они могли лечь вместе, а не как в монастыре, по разным кельям, а сейчас он ничего не знал и стоял на Рыночной площади,

в молочном тумане, прорезанном мутными прожекторами, куда к полуночи высыпала куча народа встречать Рождество. Продавали горячий глинтвейн прямо с лотков. От него шел пар. На севере от ратуши играл один оркестр – для молодых, на юге – второй. На севере звучал рок, на юге – вальсы. Снег сыпал как заведенный, и вся площадь дымилась от тумана. Верхушек костела видно не было, в тумане качались как привидения только первые этажи.

Шарманщик позвонил друзьям в Москву, поздравил их с Рождеством, потом вышел на улицу и, прислонившись к столбу, послушал оркестр для молодых. Потом он пришел в монастырь и попытался помириться с Надей, но та носила обиду как свинец – за щеками и за пазухой. Он положил рождественский подарок ей на тумбочку, вздохнул и пошел спать.

На следующий день они выступали на небольшом банкете, устроенном в монастыре в их честь. Вернее, в честь их радиоспектакля о Ежи Попелушко, ксендзе профсоюзного движения «Солидарность», убитом местным КГБ в 85-м году по наводке наших дзержинских. Впрочем, Дзержинский был тоже их, а не наш, потому что тоже поляк, но дело не в этом. После выступления к нему подошла незнакомая монашенка и сказала, что ей надо им, гостям из России, вот это передать. И она сунула в руки Шарманщику старую толстую тетрадь в бледно-розовом твердом переплете. «Что это?» – спросил Шарманщик. Она ответила по-польски, и он ничего не понял. Он взял тетрадь, сделал вид, что понял, а понял, что это подарок, и поблагодарил на русском, хотя слово «спасибо» по-польски тоже знал.

На Наде год назад он хотел жениться, а сегодня не понимал зачем. Утром он снова пошел на площадь с костелом Витоша после почти бессонной ночи. Он вспомнил, сколько было повешено костылей, медных и серебряных сердечек в Краковском костеле с чудотворной Ченстоховской Божьей Матерью – дары излечившихся. Как он там три дня назад стоял, а потом прополз на коленях вокруг чудотворной иконы по специальному заалтарному желобу, натертому коленями просителей до блеска, – он решил, что это поможет его дочери перестать его ненавидеть на пару с ее матерью. На миг он даже очень сильно поверил в это, а сейчас подумал, что почему бы Божьей Матери и не исполнить его просьбу, но только что-то в последнее время просьбы его никак не исполняются. А сейчас он зашел в костел и исповедался пожилому ксендзу, чье лицо неясно и строго маячило за решетками исповедальни. Потом вышел на площадь.



Вернулся в монастырь, взял тетрадку в бледном розовом переплете из кожи и стал читать. Написано было по-русски. Прекрасная желтоватая бумага хранила драгоценные и выцветающие чернильные завитушки, в которые осыпался целый XIX век, как тополь осенью до ветвей, сбросив все лишнее. Писала какая-то София Мартынова – ее имя было аккуратно выведено на первой странице лиловыми чернилами. Сначала он никак не мог уловить смысла, потому

что думал, почему он так сильно хотел жениться на Наде, а теперь не хочет, и еще об ангелах с серебряными крыльями за стеклянными витринами, но потом понял, что это за тетрадка у него в руках. Это были воспоминания госпожи Софьи Михайловны Мартыновой (в девичестве Катениной), перемежающиеся главами из дневника, кажется, ей же и принадлежавшего, ну конечно же, почерк один. Потом возникло имя знаменитого русского философа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева, которого Шарманщик особо почитал. Он разволновался, закурил сигарету, тут же загасил, вспомнив, где он, оставил тетрадку на сером в квадрат покрывале койки и снова пошел на площадь. Тротуары и середина улицы были засыпаны тающим снегом, в небе мелькали голубые прорехи.



На площади под домом стояли четверо панов с музыкальными инструментами – гобой, скрипка, флейта и валторна. Паны были одеты в темные добротные куртки и выглаженные

брюки, и вдыхали они в промежутках воздух, а выдыхали пар. На головах у них были мягкие шляпы. Они заиграли вальс, и тут снова посыпал снег, да какой! – а справа от колокольни костела, в четвертом этаже кирпичного здания, напротив окна, стоял у себя дома какой-то человек в белой рубашке и смотрел оттуда на площадь с панами, Шарманщиком и снегом. Он смотрел на нас с высоты и не шевелился, словно на какое-то время стал памятником в окне, а может, он просто задумался. Такие памятники, как в шпионских фильмах, наверное, ставят на окне для того, чтобы на улице кто-то понял, что в доме настала полная тишина и идти туда не стоит. А снег летел, словно лес, скрипки играли на четырех ногах, ангелы метались в снегу с золотыми звездами как угорелые, я любил Цецилию, а он думал совсем о другом, и вообще неизвестно, видел ли он хоть что-то из того, что здесь происходило, или смотрел куда-то совсем в другие края, например в свои собственные мысли. Впрочем, все это было неважно...

Тетрадь

Шарманщик волновался почему-то, что не сможет понять, что там в тетрадке будет написано, или что там будет написано что-то чужое и неинтересное. Он открыл ее еще раз в самом конце и заметил приписку тем же почерком: «Все, что тебе нужно узнать и прочитать, находится между 47-й и 48-й страницами». Он понял, что приписка адресована ему. Он пролистал назад и увидел, что 47-я и 48-я страница – это две стороны одного листа, и для того, чтобы проникнуть внутрь, ему придется решить какую-то, видимо, нехитрую задачу. Он осмотрел лист, исписанный с двух сторон, и попытался разъединить его так, словно бы он был составлен из двух других, склеившихся между собой, но у него ничего не вышло. Лист был обычный, плотный. Он ничем не отличался от всех остальных, заполненных мелким с легким наклоном влево почерком. Тогда Шарманщик начал изучать то, что было написано на 47-й странице. И вот что там было.



В. С. ужинал у нас вчера и за кофе рассказал довольно-таки забавную историю, писала Софья Мартынова. Сегодня, когда я вспоминаю его рассказ, он уже не кажется мне столь забавным, как показался вначале, когда, похохатывая своим неестественным и ужасно громким, до неприличия, смехом и шурясь на свет свечей, В. С. изображал действие в лицах и делал это столь комическим образом, что гости, приглашенные к ужину не могли удержаться от дружного смеха. В. С. вообще иногда напоминает мне ярмарочного шута горохового или циркового клоуна. Мы в прошлом году видели такого на ярмарке в Нижнем – огромного роста и с намазанными красными щеками. Приклеенной бородой он мел по опилкам, и тетка моя тогда сострила: погляди, Сонечка, вылитый В. С. Мне кажется, что Владимир Сергеевич так и не понял, что потешались не над самим рассказом, а над странной его манерой двигаться и жестикулировать. Может быть, на самом-то деле никому вовсе и не хотелось смеяться, но стоило только приглядеться к его бледному лицу, совершенно исхудавшему и изможденному, с голубыми

«нездешними», как говорили его почитательницы-курсистки, глазами, к его нелепым и каким-то ненастоящим жестам – он словно пилит воздух правой рукой, а левой поддерживал что-то невидимое, словно яблоко или стакан с чаем, стоило только прислушаться не к словам, но к его оглушительному и свистящему басу, как ты тотчас оказывался перед выбором – либо тебе следовало тут же забыть от непонятного ужаса все на свете и бежать вон из дома куда глаза глядят, не чуя под собой ног, бежать куда подальше... либо смеяться. А поскольку смеяться во всех отношениях было... «экономичней» и приличней, то все и смеялись. Особенно звонко смеялась Катерина Петровна, она вообще охотница до анекдотов.



В. С. может быть очень милым и оживленным, когда на него находит стих (если, конечно, привыкнуть ко всем его оригинальным странностям), но, к сожалению, это случается довольно-таки редко – чаще он остается погружен в свои одному ему известные мысли и уходит в них иногда столь глубоко, что в ответ на вопрос, заданный ему в упор, лишь смотрит на собеседника своими голубыми глазами, кажется, даже не пытаясь вникнуть в то, что у него спрашивают. Глаза у него чудные – огромные, меняющие фокус, но отражают они не одно и то же. Наверное, и видит он ими не одно и то же. Наверное, один из его глаз отражает то, о чем философ думает, а второй – то, что его окружает на самом деле, ха-ха! Именно поэтому, даже когда он рассказывал историю о девочке, спасенной им, в одном глазе его отражался подсвечник с горящими свечками (я специально наблюдала), а второй был тих и темен, как вечерний омут или глубокая заводь, и в нем ничего не отражалось. Ни одного огонька, ни одного из наших лиц, я специально вглядывалась.

Тут Шарманщик поморщился и подошел к монастырскому окну потому что уже темнело и читать стало трудно, а свет зажигать не хотелось. Окно выходило на внутренний двор, белый от снега как Мопассан, и по снегу, испещренному цепочками следов крест-накрест, топталась монашенка в серой рясе и шапочке с крылышками, погромыхая коричневым баком то ли для еды, то ли для кипячения белья. Тут Шарманщик поймал света на страницу и продолжил чтение.

Мартынова продолжала.



Дело, по его словам, было так. В. С. однажды приехал в какой-то приволжский город и, сойдя с парохода, стоящего тут у пристани чуть ли не полдня, пошел пройтись после обеда. Выйдя к песчаному берегу, соседствовавшему с песчаными же островами, поросшими шумящим в ветре кустарником, он внезапно расслышал то ли взвизги, то ли всхлипы. Он устремился на эти звуки и увидел, что в нешироком рукаве, отделяющем песчаный берег от ближайшего островка, барахтается, то появляясь над водой, то исчезая, маленькая девочка. «И тогда, – тут В. С. встал из-за стола, и длинные руки его с ненакрахмаленными манжетами стали пилить воздух во всех направлениях, а глаза сделались свирепыми и насмешливыми, – тогда, – прорычал он, – я бросился было в воду, но из подлой корысти решил снять ботинки и начал было их расшнуровывать, но они никак расшнуровываться не хотели. Тогда я перестал расшнуровываться и принялся – ха-ха! – принялся распоясываться, что мне также не удалось сделать по причине странной нервозности. И тогда я влез в лужу почти по плечи, в чем был, и достал девочку, а после вынес ее на берег. Она же, видимо, решила лишь немного окунуться, но песок посыпался под ногами, и бедняга съехала в невидимую с берега глубину. Когда же девочка пришла в себя и у нее хватило сил и смелости взглянуть со вниманием на своего спасителя, то тут же, непонятно по какой причине, тихо и тонко взыв, она вскочила на ноги и исчезла в неизвестном направлении». Причину столь странного суеверного вопля и бегства В. С. понял не сразу: «Но позже все разъяснилось. Та...»

Шарманщик перевернул лист с 47-й на 48-ю страницу и продолжил чтение.

Тетрадь. Продолжение

«...робость или даже ужас, которые охватили девушку, оказались мне намного более понятными чуть позже, когда я подходил к пристани, где стоял наш пароход. Дамы и господа, здесь гуляющие, шарахались от меня, видимо, принимая черт знает за кого, то ли за утопленника, то ли за нечисть болотную, и крутили головами, а некоторые даже крестились». Тут В. С. зачем-то стал мелко креститься и низко кланяться низенькому канapé, стоящему у стены, и чуть было не сбил при этом со стола фарфоровую чашку. Чашка чудом уцелела, а он продолжал: «А напоследок появились два маленьких мальчика в сопровождении няньки и усталились на меня, причем один сказал довольно-таки громко, показывая на меня пальцем: это Бог. И вот, когда я вошел к себе в каюту и встал перед зеркалом, то увидел в стекле, представьте себе, не почтенного философа и доктора, как вознамерился и предполагал, а наимерзейшую образину, сущую каналью с мокрой и склеенной бородой, в которой густо пробивалась зеленая водоросль, весьма похожая на кружево ведьмы, со столь же спутанными власами и очами, в которых ума оставалось ни на грош, а ноги мерзкой образины были облеплены брюками совершенно неприлично, притом один ботинок образина все же, оказывается, сняла, прежде чем влезть в воду, и совершенно про него забыла...»





Гости хохотали до упаду, а потом, уже в конце вечера, я нечаянно расслышала, как в курительной В. С. спросил Виктора Николаевича, моего мужа, правда ли, что икону Божьей Матери, находящуюся в нашей церкви, рисовали с его мамы, Софии Иосифовны. Виктор Николаевич отвечал, что правда и что матушка его, полька по происхождению, была в молодости настоящей мадонной, красавицей, каких мало, и отец его заказал сделать икону-портрет, для которой она позировала, одному московскому художнику. В. С. выразил желание осмотреть икону, и Виктор Николаевич согласился тотчас проводить гостя в церковь. Но тут В. С. как-то замешкался, а потом спросил, правда ли, что отец Виктора Николаевича Николай Соломонович занимался на старости лет спиритизмом. Отец был натурой загадочной, отвечал Виктор Николаевич. Причем с возрастом тайна и недоумение вокруг него только углублялись. То, что он имел несчастье застрелить в молодости на дуэли своего лучшего друга, влюбленного к тому же в его сестру, одного из лучших и талантливейших русских поэтов, не могло не сказаться на всей остальной его судьбе. Сначала, после трехмесячного ареста в крепости и поездки в Киев, где он и познакомился с красавицей полькой, он казался столь же весел, блестящ и остроумен, как и прежде, но потом словно что-то стало прорастать в нем изнутри. Нет, не скорбь и не угрюмость, но какая-то серьезность и мистическая высокопарность, которая иногда казалась окружающим даже неприятной. Впрочем, он постепенно стал молчалив, а общался в основном лишь с маман да еще с двумя-тремя знакомыми, да и то по большей части за картами.



«А правда ли, – спросил Соловьев, – что батюшка ваш оставил описание ссоры и последовавшей за ней дуэли?»

Муж мой отвечал, что правда, и что рукопись, в которой все это описано, действительно существует где-то среди отцовских не разобранных бумаг, и что, вероятно, пришло время этим озаботиться и разыскать ее для возможной, после предварительного просмотра, публикации...

Шарманщик, поднеся мелко исписанный листок почти что к носу, вернулся на предшествующую страницу, которую уже было совсем не различить из-за темноты. Монашенка уже ушла, двор был пуст, и снова густо посыпал снег.

«Между 47-й и 48-й страницами», – пробормотал Шарманщик и снова сделал глупую попытку расклеить страницу на две части, но и на этот раз безуспешно. Он посмотрел на хлопья, летящие в свете соседнего от него окна, и тут ему показалось, что разгадка должна таиться там, где повествование прерывается.

«Ну хорошо, – решил он, – пусть 47-я и 48-я не расклеиваются, но ведь они же все равно отделяются друг от дружки каким-то другим способом. Скажем, на одной стороне текст обрывается, чтобы продолжиться на другой. Значит, секрет должен находиться на линии разрыва текста». Шарманщик заглянул в низ листа 47-й страницы, почти приплюснув его к носу, и увидел местоимение «та». Потом, перевернув страничку, он заглянул в ее верх и обнаружил существительное «робость». Он крутил эти два слова и так и эдак, но никакой разгадки не получалось до тех пор, пока, притушив уставшим зрением второй слог от «робости» и совместив с первым местоимение «та» с 47-й страницы, не сложил из двух разностраничных слогов новое слово, через которое проходил невидимый разрыв текста 47-й и 48-й страниц. Слово состояло из двух слогов и четырех букв и выглядело оно теперь так – Таро.

Черный ангел

«Теперь понятно, понятно, – яростно бормотал Шарманщик, вглядываясь в сине-коричневую темноту внутреннего дворика. – Теперь понятно, почему эта тетрадка оказалась именно здесь. Да потому, что последние эти Мартыновы по женской линии не только все Софьи, но еще и полячки. Впрочем, и по мужской они тоже из поляков. Значит, кого-то из особо польских Мартыновых после всех революций и войн сюда и прибило, в Краков. Не одни же евреи домой потянулись, на землю предков. А поляки, что, не богоизбранный народ, что ли? Да спроси любого пана, он скажет». И Шарманщик вспомнил, как в поезде разговорился с паном, читавшим наизусть Бодлера, и как он, вследствие произведенного этим фактом впечатления, посочувствовал пану, сообщив что-то жалостливое по поводу судьбы Польши, расположенной, как он выразился, между молотом и наковальней, а пан, доселе скромно читавший Бодлера на французском, после этого замечания Шарманщика приосанился. Пан приосанился, выпрямился во весь рост в тесном купе, глянул при этом на Шарманщика каким-то диковинным образом, с какой-то жесткой стальной искрой в глазах, глянул чуть ли не исподлобья и сказал весомо: «Была когда-то и Польша молотом». И добавил, что Москву брали дважды в истории и что один раз это были поляки. Шарманщик тогда подумал, что интеллигентный пан забыл про Тохтамыш и еще про другие печальные исторические факты и пожары, но перечить ему не стал, потому что основная мысль его крутилась вокруг Бодлера по-французски и благородства поляков. Никто никогда не говорил ему, что он был временами если и не жертвенной, то крайне пассивной натурой. Особенно когда слышал стихи на языке оригинала. Но не в этом было дело, не в этом, а в другом. Надо бы, конечно, найти ту девочку-монахиню, которая ему сунула в руки эту тетрадь, но дело и не в этом тоже. А в том дело, что бабка его не раз рассказывала ему историю, слышанную от своей матери, – семейную легенду, из всех историй такого рода произведшую на маленького Шарманщика, которого тогда звали не так, самое сильное, до нестерпимых зрительных спазмов, впечатление. А история была вот про что. Мать бабки девочкой жила в одном волжском городишке с забытым теперь названием – то ли Алатырь, то ли Ардатов, Шарманщик уже не помнил как следует. Однажды она гуляла по берегу Волги и, заигравшись, сползла по песку в воду. Мелководье стремительно перешло в омут, и девочка стала тонуть. К смерти в семье Шарманщика, состоящей из него самого и бабки, относились серьезно и торжественно, и поэтому, когда он слышал время от времени эту историю, то понимал, что дело тут непростое, что дело тут из всех дел самое страшное, потому что под водой нельзя дышать, и от этого наступает чернота, чернее той, которая живет ночью в овраге, и жизнь кончается насовсем, как это бывает, когда кто-то уходит из семьи, а потом никто не может или не хочет объяснить, где этот человек теперь находится. И поэтому, если бы прабабка, которая тогда была не прабабкой, а пятилетней девочкой, своевольно гулявшей там, где ей гулять домашние настрого запрещали, утонула, исчезла бы под водой в черной черноте и не вернулась больше оттуда никогда, то на свете не было бы ни бабушки Шарманщика, ни мамы Шарманщика и ни его самого. Это рассуждение особенно его потрясло, потому что Шарманщик в него не верил, отчасти из-за того, что вот же он – есть, и все тут, а еще для того, чтобы оказаться в очередном споре с домашними – проигравшим, к чему его всегда яростно тянуло до самых даже первых седых волос. Так вот, когда синее небо померкло и Смерть готовилась заграбастать маленькую прабабку в свои объятия с желтыми ногтями на пальцах, она почувствовала, что ее схватили под мышки две сильные руки и вырвали из небытия к солнцу. Когда она открыла глаза, то увидела черного ангела, от которого во все стороны расходились лучи света, и она поняла, что это он спас ее от омута. Ангел был высок, тонок и черен, и от него разлетались голубые молнии. Свет как змеи струился у него по груди и вокруг глаз. Ангел был бос, и на одной его ноге прабабка насчитала восемь пальцев. Они заканчивались когтями, как

у птицы, и зарывались в песок. На птичьей щиколотке ангела горела золотая цепь с рубинами и маленькими изумрудными черепами. И еще она говорила, что чем больше она смотрела на его черноту, тем та становилась ярче и ослепительней, пока прабабка не поняла, что это уже не чернота, а сплошные свитые, как белое белье, когда отжимают, лучи света. Тут ей стало так страшно, как никогда в жизни, она вскочила на ноги и побежала домой изо всех сил не оглядываясь. Прабабка всю жизнь считала, что это был архангел Михаил, и одного из сыновей (самого позднего) потом назвала Михаилом, но это его не уберегло, и он так и пропал без вести во время Второй мировой войны где-то в районе Курска.

«Ага, – бормотал Шарманщик как заведенный, – ага! Вот оно что. Вот, оказывается, кто был черным ангелом. Вот тебе и ботинок потерянный, и нога, превратившаяся от этого в птичью с когтями о восьми пальцах, – все сходится. Черный ангел был философом в черном сюртуке – каково!»

Шарманщик на всякий случай быстро просчитал сроки и даты – все сходилось.

Теперь Шарманщик стоял и не верил своему счастью. Ведь если все это действительно так, то род его жизни идет отныне не откуда-нибудь, а от великого русского человека и философа, о котором он одно время собирался писать диссертацию, а потом чуть было не написал либретто для оперы, – от Владимира Сергеевича Соловьева. Вот так так! Вот так история! Это вам не баран чхнул! Конечно, Владимир Соловьев считал себя человеком бездетным, и как же иначе. А не подозревал он даже, что на самом-то деле был у него прямой потомок, сын, которого он духовно и физически зачал с жизнью, отбив от смерти, со спасенной им девочкой, и теперь Шарманщик знал, что он, Шарманщик, – не просто какой-то там наследник, впрочем, довольно-таки достойной старой русской семьи, а – раз, два, три, – быстро подсчитал он в уме, слегка пригибая пальцы, – а правнук духовный и физический Владимира Сергеевича Соловьева, духовидца, поэта и странника.

Сила и лев

«Ну хорошо, – подумал Шарманщик. – Ну хорошо, Таро. А что дальше?» И он снова устался в окно, на которое наложилось не только отражение его лица на фоне темного двора, но и смутный призрак ангела с девочкой и даже колода старинных карт.

Шарманщика тревожили две вещи: то что в мире все предметы находятся отдельно, и то, что, возможно, есть такое место, где они могли бы быть все вместе, а он про него не знает. Само по себе то, что находились они отдельно, сначала было не страшно, потому что собака должна находиться отдельно от кошки, а дерево – от дома. Страшно было то, что все они от этого обрастают такой толстой кожей, корой и чешуей, что было вовсе непонятно, как с этими отдельными предметами иметь дело и где, собственно, они теперь находятся, потому что их совсем не стало видно-слышно-потрогать, а Шарманщик хорошо помнил, что в детстве было не так. Еще он помнил, как с одной женщиной они легли в постель и так любили друг друга, что на какой-то миг у нее стало лицо Шарманщика, а у него стало ее лицо, а потом все поменялось и снова возвратилось. Про ту ночь можно было сказать, что шкуры-чешуи тогда на них не было, что они отстегнули ее вместе с майками-джинсами. Про ту ночь можно сказать, что они были одно, что они были проницаемы друг для друга, как если, скажем, зеленый кусок пластилина разминать, плющить и тянуть вместе с желтым так, чтобы они слиплись и перемешались, и тогда в руках возникает ком, где тонкие прожилки одного и другого цвета не только извиваются по поверхности, но и уходят внутрь и там тоже образуют какие-то переплетения. Но если пластилин не умеет летать, то люди, когда они так переплетаются, парят над постелью, и это Шарманщик с той ночи запомнил на всю жизнь. И не только над постелью, но могут побывать, например, даже на любой звезде или в любом месте на самой земле, стоит только об этом подумать вместе, а думаешь тогда только вместе, потому что ничего отдельного тут уже нет. Но потом такое единение с той женщиной больше не повторялось, а потом они и вовсе расстались. Его случайный знакомый милиционер Лука как-то говорил ему, что есть такое место в горах, где все соединяется со всем, но Шарманщик туда пока не добрался, потому что Лука мог многое рассказать, а потом оказывалось, что это совсем не так. Но поехать все равно надо будет, решил Шарманщик. Надо, потому что он не мог больше видеть предметы не только отдельные, но и обросшие шерстью, как одна такая шерстяная ложка художника-сurreалиста Дюшана.

Вот идешь, например, закрыв глаза, и натыкаешься на стол. А он вчера здесь стоял еще не совсем мертвый, хотя уже и с невидимой трухой внутри, еще не совсем обросший. Но потом стол, как человек, если не бреется, обрастает сначала трехдневной щетиной, потом двухнедельной, а потом и самой настоящей бородой. У какого-то мертвеца в сказке росла борода и желтые ногти так, что они стали загибаться, образуя костяные кольца, как это было у его матери в доме для престарелых и умалишенных, когда через год выяснилось, что в этом заведении сестры ногти больным не стригут, но ему почему-то об этом не сказали, и когда он однажды стал мыть ноги матери в больничном тазу, он ахнул, и ему стало нехорошо. Так вот этот стол становится мертвым и обросшим, и к тому же он Шарманщику никакая не мать, и потом неизвестно еще, какими ножницами можно состричь эту невидимую глазу бороду. Но факт в том, что она есть и растет не только на стуле, но и на всех остальных вещах – деревьях, автомобилях, дверях и турникетах. Сюда же можно вставить аэропланы, катетеры, компьютеры, шприцы, надувные матрасы и лифты. На всем живом этого добра меньше. На некоторых деревьях почти совсем нет. Но на стуле есть. Вообще, больше всего этой пакости на том, с чем ближе всего соприкасаешься. И тогда все эти вещи становятся отдельными и мертвыми.



А пока он думал: ну хорошо, ну если Таро, то какая именно карта. То есть какая карта Таро может дать ключ к разгадке розовой тетрадки и к его, Шарманщика жизни, потому что он знал, что это одно и то же. Не всю же колоду здесь надо учитывать. Ну хорошо, начнем с главных арканов (картинок): какой тут может подойти? Шарманщик полез в карман куртки, висящей в шкафу кельи. Рукава были еще мокрыми от новогоднего снега. Он достал сигарету из пачки, собираясь воровато курнуть в окошко, и тут его осенило. Ведь если Таро «режется» пополам, на 47-ю и 48-ю страницы, и разгадка находится между «та» и «ро», то и арканы, то есть их количество, тоже, наверное, надо разделить пополам. Так-так. Там еще есть нулевая карта – джокер, шут, но она все равно считается и входит в состав этих двадцати двух главных арканов. Двадцать два надо разделить на два, и тогда ключ найдется между одиннадцатой картой и двенадцатой. А что изображает одиннадцатая карта? Этого он не помнил. С так и не зажженной сигаретой он спустился в холл, нашел телефон, кинул монетку и позвонил в Москву... Через двадцать минут на дисплее его мобильного высветилось желто-красное изображение странного зверя, похожего на льва, и сидящей на нем нагой женщине с головой, запрокинутой в экстазе к небу. Вглядываясь, Шарманщик различил у зверя целых семь голов. К изображению прилагалось описание, любезно высланное его приятелем из Москвы. Из него Шарманщик уяснил, что головы принадлежали – ангелу, святому, поэту, прелюбодейке, рискованному человеку, сатиру и льву-змею. Он вышел на улицу, под снег, посматривая время от времени на потухающий и вспыхивающий дисплей с чудным зверем, и казалось ему, что послание это в виде загадочной картинки он сейчас поймет и разгадает. Вернее, так: он знал, что послание это он уже понял, вот только теперь надо перевести его с языка рисунка на язык слов. С языка льва на человеческий. С чего же начать, с какой из голов? Ну вот, например...



Прелюбодейка

Чудная у меня все же последнее время жизнь. Началось все с пустяка, с чепухи. Я сходила на один любительский спектакль (это была драма Цветаевой о Казанове и его последней любви – маленькой девочке), и мне стали сниться странные сны. Вернее, не так. После спектакля я словно ощутила огромную промоину в памяти. Я подходила к ее краю, не замечая его, хотела идти дальше и каждый раз словно расплющивала нос о матовое стекло. Ощущение не очень приятное. Я натыкалась на него за разом раз, пытаюсь восстановить какие-то совсем разные, ничем не связанные, истории своей жизни. И я все их помнила, но почти в каждой из них было вставлено это матовое стекло, после которого история проваливалась ненадолго в туманный пробел, а потом столь же неуклонно возобновлялась, но уже немного отступив от того места, на котором оборвалась. Я ничего не понимаю. После того спектакля я пошла на каток и там упала и сильно ударилась затылком о лед (мне показалось, что на голове выросла стеклянная корона, я и сейчас ее чувствую, если быть честной, и еще с тех пор все время пахнет эфиром), но я не уверена, что падение как-то связано с фокусами, которые мне преподносит моя память. В общем, мне было дано знать, что в прошлом со мной происходили какие-то события, которых я не помню. Это раз. Потом все стало еще туманней, или, как говорят мои подружки попроще, – прикольной. Дело в том, что я стала получать анонимные эсэмэски с короткими указаниями, и у меня хватило глупости им последовать. Первая из них выглядела так: «В стволе пистолета на стене». Ну я и залезла. Я думала, что это кто-то из одноклассников меня разыгрывает. У нас дома на стене на фоне иранского ковра и под кубанской саблей висят два старых револьвера – один под другим. Нижний перевернут. Их повесил отец, он когда-то собирал старое оружие. Я залезла в ствол шпилькой и, к своему удивлению, вытащила оттуда скатанный в трубочку лист бумаги, исписанный почерком, очень похожим на мой собственный. Я сначала даже решила, что это я и написала, но потом поняла, что записка написана левой рукой, а я правша. Там был рассказ о том, как на дачу к замужнему мужчине приезжает девушка и у них там секс и все такое, а потом он танцует во дворе какой-то дурацкий танец, который он назвал танцем трех красных рыбок. Так себе история. Во всяком случае мне она ничего не объяснила. Правда, потом, перечитывая ее, я почувствовала, что все это уже словно бы знаю и что должно быть продолжение, и я не ошиблась. Продолжение последовало на следующий день. Эсэмэска была такая: «Мои документы – мои музыкальные записи – файл 14». Я загрузила компьютер, открыла «Мои документы», нашла папку «Мои музыкальные записи» и открыла звуковой файл с цифрой 14. Незнакомый мне приятный мужской голос произнес следующее: «Здравствуй, Арсения!...» Потом наступила пауза, словно голос не мог решить, продолжать ему или не стоит, и я слышала какое-то шуршание бумаги. Через целую минуту раздумий голос продолжил:

«Знаешь, собственно, не имею представления, с чего начать. Ну хорошо... я немного волнуюсь, не хочу, чтобы это тебе передалось. Ты ведь еще совсем маленькая девочка и сейчас не знаешь, как это так оказалось, что у тебя есть еще одно прошлое, а это может тебя напугать. Скорее всего, на сегодня, даже если бы ты меня и отыскала, я не смог бы тебе всего объяснить, потому что мы вместе с тобой решили вычеркнуть нашу прежнюю жизнь из памяти. Мы с тобой долго искали способ, как это сделать, но нашел его я один и совершенно случайно. Можно подумать, что нам подыгрывали добрые силы, с которыми меня познакомил мой знакомый, милиционер Лука, но я сейчас не об этом. Я о том, что раз ты слушаешь этот файл, то, значит, у нас все получилось и я тоже забыл часть своего прошлого, в котором есть ты. Время от времени тебе будут приходить от меня эсэмэски в течение почти целого года, но дозвониться по тому номеру, с которого они посланы, ты не сможешь. В результате, возможно, ты узнаешь о себе и обо мне то, что мы оба забыли, но это будет уже совсем новая, освеженная история, которая сделает возможным примирение с ней, такой, как она была, потому что

теперь она будет существовать, забрав в себя совсем другие истории и ландшафты. То есть мы хотим обновить то, что мы прожили вместе, включив нашу историю в другой контекст, изъяв ее из того времени и тех обстоятельств, в которых она протекала, и переселив ее в новые декорации. Причем тебе она (наша история) будет открываться постепенно, а мне, не понятно, откроется ли вообще». Здесь следовала новая пауза, в которую вклинилось пение какой-то бестолковой птички, видимо из приоткрытого окна. Потом мужской голос продолжил: «Но это дело, как говорить, Провидения. Ты, конечно, можешь мне не верить, но весь этот план был нами разработан совместно, и те вещи, которые сейчас происходят с тобой, происходят с твоего согласия. Собственно говоря, ты этого хотела больше, чем я. Я бы даже сказал, что намного больше. Знай одно, дорогая моя девочка, – я очень тебя любил такого рода любовью, над которой не властны слова. Те, кто нас знал, нас не понимали, и я их не виню. Дальше я ничего сказать не могу... Между прочим, сейчас ты стоишь рядом со мной, уткнувшись лбом мне в затылок и... ладно. Мне кажется, что ты там, у меня за спиной, плачешь...»

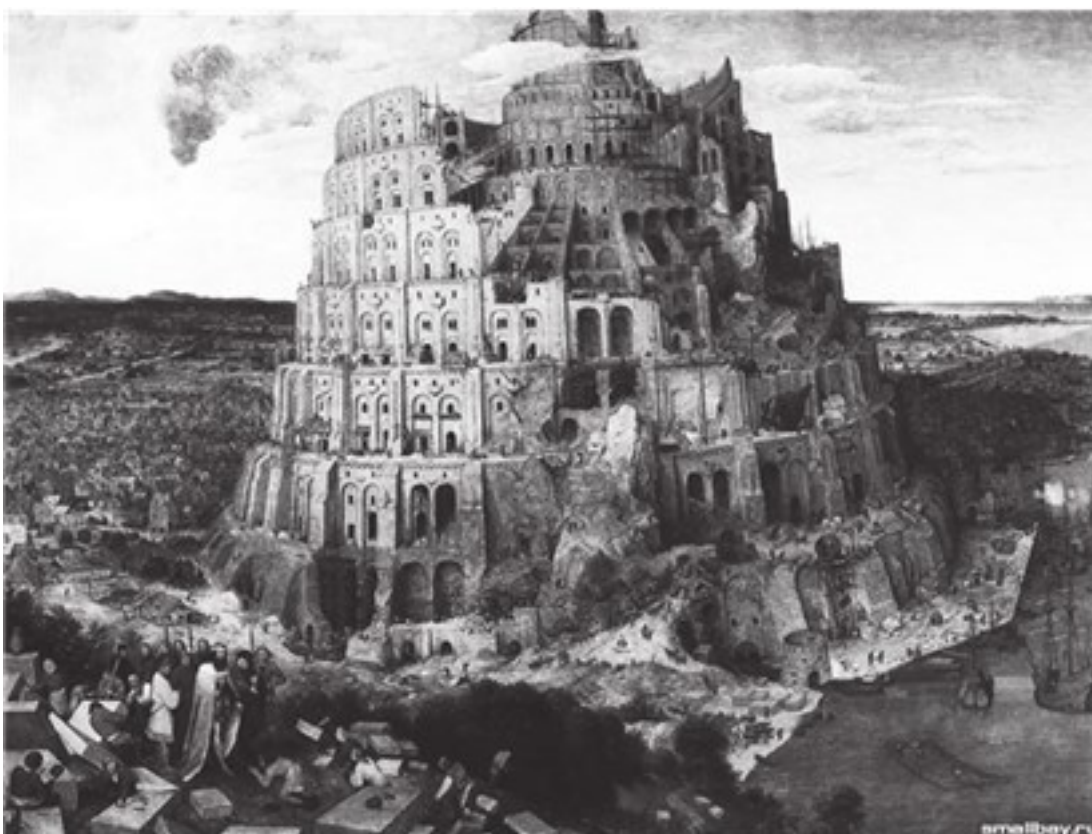
Дальше в записи опять была пауза, а потом я явственно различила женские всхлипы. Когда они стали громче, я узнала свой голос. Он сказал: «Я не могу отпустить тебя...» Имени я не расслышала. Потом что-то зашуршало, стукнуло, как будто пепельница упала на ковер, и файл закончился.

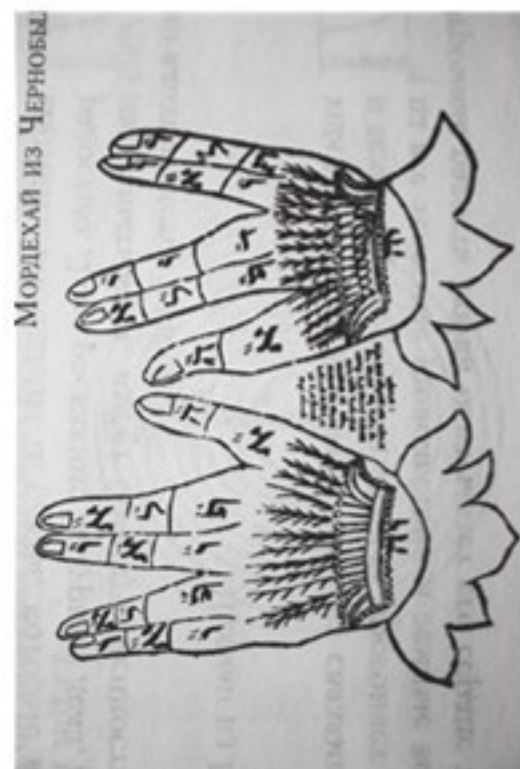
Башня

Шарманщик вернулся в Москву, и началась весна. С Надей он перестал видаться, и это произошло хоть и не без боли, но как-то само собой. Однажды он сидел в «Лексусе», слушал музыку через автомобильный плеер и перебрасывался с приятелем, сидящим за рулем, репликами по поводу босоногой исполнительницы, юродивой и гениальной, любимой Сталиным, а также каждым российским деревом и всеми гнездами на нем. В гнезда могли залетать разные звуки и птицы, и от этого те птенцы, которые там подрастали, – красный и черный – становились то больше, то меньше. Если звучал Бах, то вырастал красный птенец, и было видно, как в его прозрачной голове копошились словно светящиеся червяки, нет, не мысли, потому что мыслей у птиц не бывает, а пучки энергий и сообщений, которые частично приходили от музыки, а частично поднимались из генной памяти самого птенца. А если звучал, например, Шуберт, то рос черный птенец, причем делаясь по мере роста не черным, а каким-то тускло-коричневым, какой бывает отброшенная из могилы земля, и было ясно, что эта коричневость тоже была выброшена музыкой из его глубины, и потом, когда музыка кончится, землю опять забросают внутрь и от этого птенец уменьшится и станет черным. Так оно и было.

Потом Шарманщик взял веер, который валялся тут же, рядом, на коже заднего сиденья «Лексуса», раскрыл его и перевернул вверх ногами. Это значило, что отныне он больше не Шарманщик, а – как это происходит в театре Но, где веер служит указателем всяких превращений, – теперь он начинает превращаться в большую башню. Он постепенно раскрывал лопасть веера с рисунком красного дракона на его шелковых сегментах до тех пор, пока тот не раскрылся полностью. В это же самое время раскрывался в виде башни и Шарманщик. То есть снаружи ничего такого, конечно, не происходило, и те из нас, которые большее время жизни живут снаружи, ничего бы так и не заметили, но Шарманщик теперь жил внутри и поэтому вырос в огромную, до небес, башню. Башня была не столько высокая, сколько какая-то... Шарманщик пытался найти слово, и оно сначала никак не находилось, а потом нашлось: она была непристойная. И непристойна была не столько высота башни – до небес! – сколько ее разъявистый объем, гипертрофированная материя, уплотненная и преувеличенная наглядность, вся изъеденная, несмотря на свою плотность, словно огромная головка сыра, вся пробуравленная невидимыми, но мощными мышами, живущими как в воздухе мира, окружившего башню, так и в головах ее строителей. Казалось невозможным, чтобы такие огромные звери, продырявившие башню тоннелями и отметинами зубов, могли жить в крошечных головках строителей, стоящих тут же, развернув свои чертежи и схемы, но ведь и сама башня, если вдуматься, сама она со всеми своими ярусами, колоннами, тропками, грядами земли и крошечными фигурками строителей, похожими на комаров, тоже вышла из тех же небольших человеческих голов. А похабность ее становилась все более явной не потому, что ее создатели хотели вместе с ней добраться до Бога или «сделать себе имя», как об этом написано в Библии, – нет, не поэтому, ибо похабность Вавилонской башни на картине, например, Питера Брейгеля заключается не в размере вертикали движения (кстати говоря, по современным меркам и не очень-то грандиозной, в Дубае есть сооружения и повыше), а в том, что она разрослась и расселась посреди измельчавших ландшафтов с заливами и парусными кораблями в них, с городком, домами, ратушами, деревьями и птицами, – разрослась и расселась так, как мог бы рассестись среди нас с вами на огромном толчке великан, выкатив свои гениталии и готовясь опорожнить желудок. Ну конечно-конечно, ведь если башня вышла из голов строителей, то это уже не просто башня, а Голем, который и есть огромный человек, созданный из глины и оживленный заклятием. Если вертикаль существует без горизонтали – например чистая вертикальная плоскость: холст, стена, – она очень красива. И если горизонталь существует без вертикали – луг, равнина моря, – это тоже завораживает, и это зрелище можно назвать эстетическим и правиль-

ным, потому что оно отдается свободой и воодушевлением в груди. Сложности возникают при комбинировании вертикальной плоскости с горизонтальной, а именно это комбинирование и образует все формы на свете. В случае башни это комбинирование привело к выпавшей букве, и мир башни стал похабен. Дело в том, что если из предмета или человека выпадает буква Божьего языка, то человек, зверь или предмет становится похабным, даже если какое-то время этого никто и не замечает. Но потом это все равно обнаруживается. А буква выпадает тогда, когда человек, зверь или предмет – что одно и то же – начинает жить в человеке только внешним взаимодействием с остальным миром, забывая заходить в глубину собственного сердца, где и расположены вместе с первым снегом все буквы Божественного языка, из которых все на свете вырастает – птицы, деревья, двери, пороги, люди и облака.. На самом деле – и Шарманщик знал это – все эти буквы суть одна буква, и поэтому если выпадает хоть одна, то выпадают все, и человек превращается в куколку, из которой ушла бабочка, и перестает понимать то, что ему говорят другие. Вот, например, один человек говорит другому: помоги! А тот ему отвечает: пошел на хуй! Человек смотрит тому в лицо, в самые глаза, пытаюсь передать, как ему плохо, и что он тоже человек, и он может умереть, если ему сейчас не помочь, он заглядывает тому в его глаза и верит, что его сейчас все равно услышат и спасут, и поэтому повторяет: помоги! А тот все равно не слышит, а вернее, слышит, но что-то другое, свое, как будто он сидит где-то в этой самой башне, в самой ее середине, ест огурец, и поэтому занят, и поэтому он снова говорит тому: пошел на хуй! И не видит он ни того человека и ни башни. И даже собственного огурца он не видит и не слышит, даже самого себя он не ощущает.





Потом Шарманщик перевернул веер обратно и стал его складывать до тех пор, пока башня не исчезла вместе с зеленым драконом, словно втянувшись в его суставчатые изгибы.

Тогда он решил позвонить Арсении и набрал ее номер.

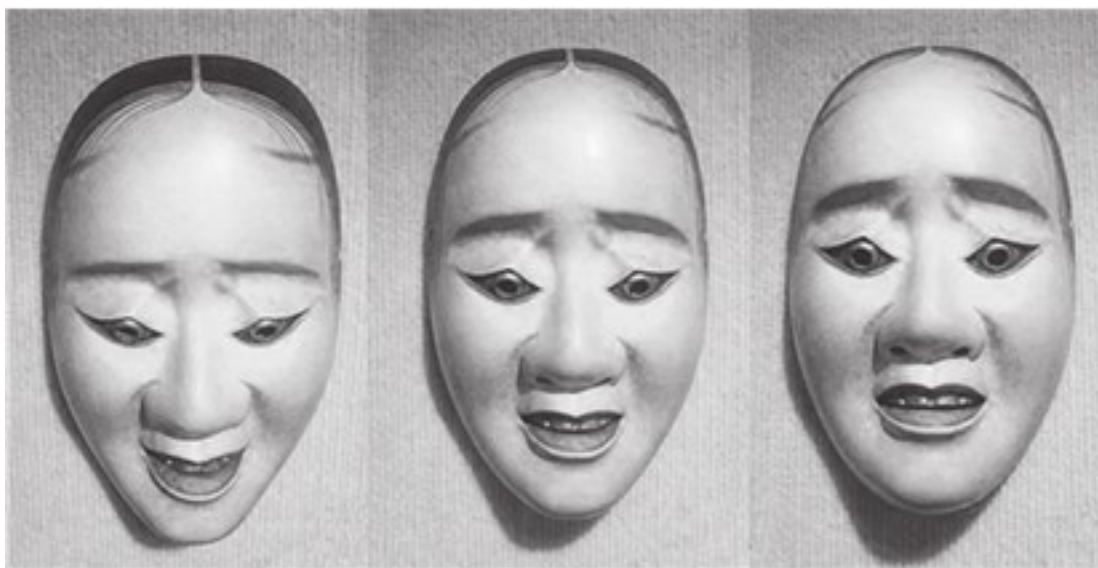
– Нет, – сказал он, – лучше ты приезжай ко мне.

– Отвезешь меня домой? – спросил он у водителя, и тот удивленно обернулся. – Что? – спросил Шарманщик. – А! – сказал он и посмотрел туда, куда ткнул пальцем его приятель. Оказывается, они уже давно приехали. Джип стоял рядом с подъездом дома, где он жил. Шарманщик вспомнил, что они уже заезжали в магазин и купили к ужину все, что нужно, а потом

приехали к его дому и стали слушать Баха в исполнении босоногой юродивой. Просто он про это забыл. Наверное, он много чего забыл, наверное, и его потихоньку грызут волшебные злые мыши, но букву свою он еще не потерял и поэтому все понимает, что делается вокруг. Поэтому он вышел из машины и неподвижно застыл. На языке театра Но это означало, что он исчез, а действие продолжается без него.

Стартовые условия

Ну а раз его нет или как бы нет, раз он застыл где-то там на сыром асфальте, от которого пахнет попеременно морем, мочой и бензином, то пусть в это время за него говорит хор, тем более что именно хор на своем гнусавом японском языке, настолько искаженном каноном пения, что слова разбирают лишь знатоки, которые приходят послушать пьесу раз в пятидесятый, не меньше, именно хор затеян и предназначен для того, чтобы раскрыть зрителю внутреннее состояние нашего персонажа, дабы не расщепить и не умалить его ничем не нарушаемую (никакими ветрами времени не распыляемую) статуарную и молчаливую целостность. Любимый Шарманщиком философ Григорий Померанц как-то сказал, что неподвижность иконы – это неподвижность берегов, в которых течет река духа, вечно обновляемая, радостная, страдающая и бездонная. Так вот пусть Шарманщик остается руслом, а реку духа, нам не видимую, изъясняет хор. Пусть все будет примерно так, как это происходит на византийской иконе, в культуре, нам тоже мало внятной, но все же усвоенной так или иначе в силу исторической преемственности русским народом.



Итак, хор.

Хор запел-заговорил медленно под вполсилы удары барабана и пицание японской старинной флейты, и сначала было непонятно, о чем это он, но потом слух как-то втянулся, стал более доверчив, сроднился с ритмом, и получилось вот примерно что.

Вот стоит, стоит Шарманщик у машины, но это ничего не значит, ничего не значит, что он стоит, не думайте, что он столб какой-нибудь, и все тут, что на этом все и кончается. Потому что он не только стоит в своей жизни, но иногда и бежит, и забирается, и прячется, и лавирует, и прыгает, и цепляется, но не кромсает, не удерживает, не тянет к себе и может. Он может. Например, вогнать себя в смертельную тоску. Дело в том, что он ищет ответ на один непростой для него вопрос. Для всех остальных или этот вопрос совсем не встает, или на него уже знают ответ те, кто об этом читал, ну например, все продвинутые христиане, особенно те, которые знают, что они продвинутые. Это как алкоголик-психолог: он знает ответы на все вопросы пациентов, и этих ответов у него много, они с щелканьем вылетают как птички из фотоаппарата, но на снимке при этом не остается почему-то ни одного счастливого лица. Все эти несчастливые ответы он знает, но не знает, как ему самому перестать пить, потому что у

него это не получается, и поэтому он вынужден день и ночь повторять себе, что в том, что он регулярно перебирает, ничего страшного нет и что он если и пьет намного больше всех этих скучных непьющих, то лишь потому, что при такой напряженке, при такой непростой жизни с занудой женой и стервой любовницей, ему «надо же на чем-то держаться». И все же по утрам ему становится тошно и непросто жить, и тогда у него на какое-то время кончаются ответы. Но у христиан, с которыми был знаком Шарманщик, ответы не кончались. Они писали статьи в журналы и выступали на радио, следовательно, в их природу входило отвечать на самые трудные вопросы, что они с блеском и делали. Шарманщик знал, что спрашивать бесполезно, потому что в ответ он обязательно получит умную цитату, а не свою, пусть «неправильную», но все же правду, и все же время от времени возобновлял попытки диалога с христианской церковью.



После них ему становилось нехорошо, потому что в ответах друзей он узнавал себя самого пятнадцать, скажем, лет назад, когда и у него тоже был готов ответ на любой вопрос. И тогда ему казалось, что он крутится на карусели и вокруг мелькает то же самое, что там было и сто оборотов назад, и миллион оборотов назад. Время как бы не шло, и от этого тошнило смертью.

Барабан: Бум-бум! Бум-бум! Бум-бум! (Пауза.) Бум-бум! Бум-бум! Бум-бум!

Дальше хор пел о том, что Шарманщик уже понял, — что большую часть жизни большинство людей пребывает в иллюзии относительно реальности своего восприятия жены, друга, яблока, улицы и себя самого. Что, скажем, веселый человек стоит словно на улице Большая Пресня и обиженный — на улице Большая Пресня, и, хотя видят они совершенно разные улицы, ничем не похожие друг на дружку, ну не больше, скажем, похожие, чем макет Кавказского хребта на сам Кавказский хребет, тем не менее они в силу коллективного гипноза и безумия будут до смерти считать, что они тогда находились на одной и той же улице. (Если здесь что и непонятно, то мы уже предупреждали, что слова хора может разобрать лишь привередливый и верный театру зритель-слушатель, знакомый с общей канвой спектакля и его сюжетом, а другой, не столь привередливый, но тоже взыскующий, все же может просто встать и уйти, если уж совсем затоскует от непонятности этих гортанных глотаемых наполовину иероглифов. Впрочем, надо же хоть с чего-то начать. Вот в надежде на то, что невъезжающий зритель станет

зрителем въезжающим, и продолжает хор петь и декламировать свои партии, не снисходя к человеческой слабости в надежде на человеческое могущество.)

Итак. Если, размышлял Шарманщик, если все, что в мире за много тысячелетий было, было, в основном кровь, борьба, страдания, самоуничтожение, обман, предательство, ложь и подлость, а также скука, скука, скука, лишь изредка перемежаемые слабой флейточкой Божественной любви, святости или творчества, которую основной мир можно сказать что и не слышал, если искренне, понимаешь, искренне все эти люди за все эти десятки тысячелетий только и знали, что страдали и мучились да изничтожали друг дружку, отдыхая иногда взглядом на детях (недолго) и телом на подруге (еще непродолжительней) и принимали эту историю своей жизни за единственно реальную, если всегда правило предательство, а правда была в поругании, невинность в унижении и благородство в дураках, – то зачем было Творцу создавать такую жизнь?

Друзья-христиане поясняли Шарманщику, что Творец в этом не виноват и что все это безобразие, скандал и тоска кровавая упираются в проблему свободы воли, данную Богом человеку в доверии, что тот справится, и тем самым человека возвышающую, но этот ответ Шарманщик знал и раньше. Это был чужой ответ для него, Шарманщика, и он думал, что чужой и для, например, его знакомой девочки-наркоманки, которую несколько раз насиловали, потом заразили СПИДом, а еще у нее был гепатит С и больной ребенок. Впрочем, вряд ли она вообще задумывалась на эту тему, но Шарманщик задумывался. Ему говорили: так делай что-нибудь, чтобы мир стал лучше. И Шарманщик делал кое-что в этом направлении, правда, не любил рассказывать, потому что считал, что это безвкусно.

Зачем было создавать такой мир, повторял Шарманщик Богу, которого любил, и сходил от этого с ума. Потом, когда он понял, что «все, что не Бог, есть ничто и в ничто должно быть вменяемо», а проще говоря, что все люди живут в иллюзорном мире, который есть ничто и которого на самом деле почти что и нет на свете, как нет на свете объективной Большой Пресни-один и Большой Пресни-два, а есть только сияющая любовью УЛИЦА, которую почти никто не видит, – тогда ему показалось, что он нашел ответ. Ведь на самом деле вся эта кровавая и похабная История не была на самом деле, а существовала только на правах Пресни-пятнадцать, то есть она была иллюзорна. А саму реальность, которая уже Царство Небесное на земле, конечно же, видят святые, и оно-то, это вневременное Царство, и есть истинная реальность. Тут он на какое-то время успокоился, Бог оказывался все же действительно милосердным, но потом его пробило: так что с того, что это иллюзия, если миллиарды людей прожили ее от рождения до смерти как единственную реальность? Со всеми ее смертями, пытками, страданиями. А об иной жизни если и слышали, то ждали ее не раньше чем за гробом, и никто им ничего не объяснил, как тот самый алкоголик-психиатр, который объяснять-то, конечно, объяснял, но сам умирал от болезни и больным был помочь бессилён.

Хор-оркестр: Бон-бон-бон! Бон-бон! (Пауза.) Бон-бон-бон! Бон-бон! (Пауза.)

Свобода воли, говорили Шарманщику. Он дал ее людям, и те так этой свободой распорядились, что превратили историю и себя в муку и крошево. А он возражал: но ведь это только слова. Условие свободы не может быть необходимостью для Бога. Он мог придумать вместо свободы то, что мы и представить себе не можем, и это было бы не хуже и не меньше, а больше свободы. Свобода как условие – это только слово, это только то, что мы уже потом придумали и назвали. А Бог мог найти и другие условия, неизвестные нам, не названные еще.

Так что же ты хочешь сказать, спрашивали его.

И тогда Шарманщик говорил: если Бог видел всю историю еще прежде, чем создавать этот больной мир, если он видел все эти пожары, эпидемии, невежество, убийства, аборт, соращения, болезни, казни и пытки – и все это вызвано лишь пресловутой свободой воли, то почему бы Богу не создать в принципе иные стартовые условия для Истории Людей?

Но если не свобода воли, отвечали ему так же, как раньше отвечал он другим сам, тогда человечество обречено превратиться в мир запрограммированных автоматов.

И тогда Шарманщик, страдая за себя, за собеседника и за Бога Творца, бормотал: это лишь слова, наши, людские слова. Не надо говорить либо—либо. У Бога есть возможность чего-то третьего, качественно иного, чем эта, несвободная для выбора лучшего, бинарная оппозиция. Так почему Бог ей не воспользовался?

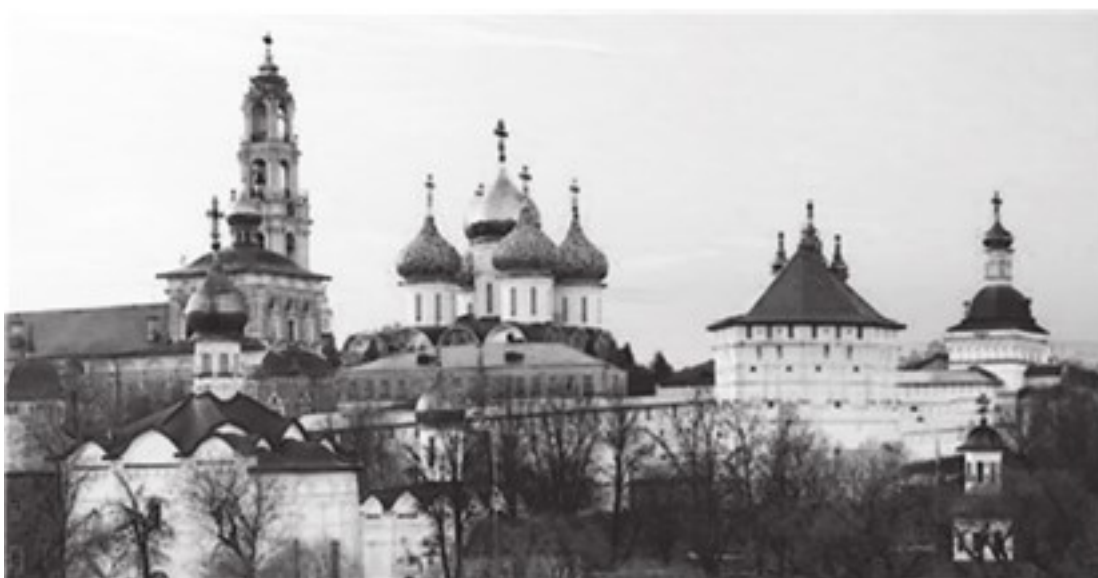
Две весны

Шарманщик вошел в темный двор своего дома и остановился. Рядом с подъездом зеленела первая зелень липа, но листьев было почти не видно, только угадывалось в воздухе нежное пятно ее будущей кроны. В зыбкой тишине росли зыбкие деревья. В это время листья кажутся искрящимися от внутреннего избытка жизни и света. Они еще матовые, мягкие, непривычно бледные, салатные, и кроны пока не стали густыми – еще сквозят словно мятным холодком, еще зябко просвечивают. Шарманщик посмотрел на небо, там светила большая раскидистая звезда. Он потоптался на тротуаре и зачем-то отошел к трансформаторной будке в углу двора, только шаркнули подошвы по асфальту. Было совсем тихо. На кирпичной стенке трансформатора мигало ядовито-голубого цвета пятно от противоугонного устройства припаркованного впритык автомобиля. Шарманщик стал смотреть на пульсирующий светом кирпич стены, и ему показалось, что стало еще тише. Он ощутил торжественное одиночество, потому что был сейчас на свете один и потому что был он свидетелем и темени двора, и новой весны, входящей в мир, и деревьев, и погашенных окошек и теплого, пьянящего воздуха, и – звезд-ы, звезд-ы. Он еще постоял у стенки, а потом сполз на корточки спиной по кирпичу. В воздухе от листьев пахло вином и свежестью. «Как это... как это... прекрасно», – тихо пробормотал он под нос, пытаясь не произносить последнего высокопарного слова, но оно произнеслось не спросившись. Оно сошло с его губ и теперь стояло в воздухе вместе с запахом вина, свежестью листвы и лохматой звездой. Шарманщик прикоснулся к нему рукой, оно плавно отпрянуло и поднялось выше. Теперь оно стояло в воздухе на уровне верхних веток дикой яблони, а внизу, у ствола, смутно угадывался похожий на дачную мебель джип и рядом с ним белесый «Пежо». Уходить слово не торопилось и было похоже на небольшой аэростат. «Иди гуляй!» – сказал совершенно счастливый Шарманщик, поднялся на ноги, хрустнув коленкой, и пошел к себе.

Дома он распаковал сверток, выставил на стол бутылку вина, высыпал пару пачек американских сигарет, гранатовый сок и дюжину мандаринов. Отдельно выложил ветчину и оливки. Хрустнул целлофаном и воткнул белую ветку лилии в вазу. Открыл форточку, сел и тихо включил Dido and Aeneas с пульта.

Арсения появилась на его горизонте полгода назад по отношению к описываемым событиям с липами во дворе...

Ты появилась совсем недавно, потому что первые два месяца, а то и три я тебя, в общем-то, не замечал. Девочка как девочка. Полгода назад, ранней весной, о ту пору, в которую прежде в динамовском парке сияли в ветвях краплаковоалые снегири, мне позвонил из Питера друг, преподаватель музыки, и попросил, чтобы я показал двум его ученицам, собравшимся в Москву на каникулы, столичные достопримечательности. А наутро в трубке раздался твой голос, я тогда услышал его впервые. Ты по-светски и очень приветливо напомнила мне ситуацию с вашим приездом и ушла в паузу, которую мне пришлось заполнить приглашением съездить в Сергиеву Лавру. На следующий день мы отправились.



Не думаю, чтобы я обратил на тебя особое внимание, хотя, вероятно, следовало бы. Мы встретились у табло Ярославского вокзала. Ты была худенькая и высокая под своей голубой дубленкой, и если что я и отметил, так это темно-синий, почти неестественный цвет твоих глаз, про который я подумал, что цветные линзы. Хотя, наверное, сейчас я накладываю твой позднейший (сегодняшний) оттиск, проявленный моей памятью, на более раннее незаписанное изображение, маячившее передо мной в электричке, пока твоя подружка рассказывала, что собирается через месяц в Америку, потому что выходит там замуж. Только вечером, засыпая, я лениво вспомнил, что ты смугла и у тебя полные губы. Ну и еще, я видел с закрытыми глазами словно стрекозиное мерцание воздуха вокруг тебя, словно вакуумную упаковку, через которую надо было переступить, чтобы... что? «Чепуха», – пробормотал я, проваливаясь в сон. «Мулатка», – отозвалось напоследок... А в глазах стояли акварельные небеса, снег под крепостной стеной, усыпанный воронами, асфальтовая площадь перед входом с ларьками, бабками и туристами, и все это было звонко от весны, как удар в фарфоровую чашку. Я решил, что я честно отработал день и мой питерский друг может быть мной доволен. Я рассказал его ученицам, что мог, про Данте и Сергия Преподобного, мы пили кофе на улице, а потом зашли в «Макдоналдс», а когда они замерзли, в рюмочной я угостил их водкой. Они все время щебетали между собой, и было видно, что для них эта поездка – целое приключение.

Я вложил этот листок в дупло дерева, за домом, в котором я прожил детство. Если ты его сейчас читаешь, значит, ты решилась. Значит, ты выстраиваешь новое настоящее и новое прошлое – одно на нас двоих. Значит, ты приехала в мой южный город и читаешь книгу про нас, листки, которые я столь прихотливо припрятал по самым разным уголкам города, где мы с

тобой когда-то провели лучшую зиму на свете (ты ловила снежинки ртом и запивала красным вином в портовом кафе, а моя дрессированная бабочка складывала для нас стихи из первых букв предметов, к которым прикасалась: абажур, роза на спуске к порту, черная, великолепная, статуя в фонтане, ель с огромными шишками наверху, твой великолепный носик на фоне моря с яхтами и чайками, кружочек на географической карте, которую ты разложила на столике кафе, с надписью «Иерусалим», яхта, на, палубу которой она опустилась, помахивая радужными лопастями, чтобы снова, как в японском трехстишии, – не путай с опавшим листком – вернуться к нашему столику и застыть у твоего локтя), но сейчас мы оба об этом уже не помним. Все эти рассказы спрятаны по местам, среди которых будут самые забавные и неподходящие, такие как ствол пистолета, статуя летчика на подъеме санаторского фуникулера или старый телескоп Луки. Такая смешная получилась книга, впрессованная в живой город, и твои шаги к каждой страничке тебе тоже приходится проживать, нанизывая на них встречи, вопросы, кофе в кофейнях и билетки в автобусах. Дорогая Арсения, я написал все эти листки еще в нашей прошлой жизни и сознательно кое-что изменил. Немного. Ведь если совсем не корректировать то, что было с нами прежде, то направляющая будущего может оказаться с отрицательной кривизной. Сейчас, когда ты читаешь эти рассказы, мы вполне можем не знать друг друга, и все же мы с тобой предусмотрели обстоятельства, которые сделают нашу встречу почти неизбежной.



Не знаю, помнишь ли ты сейчас, что через пару дней я провожал вас с подружкой на вокзал и, когда на перроне по-отечески поцеловал сначала ее, а потом тебя, ты, в отличие от нее, подставила не щеку, а рот и задержала свои губы на моих, и я не мог этого не заметить, и, возвращаясь домой в метро, время от времени ощущал привкус твоего влажного faberlic-тепла, которое осталось на моих губах.

А помнишь ли ты сейчас, что, когда мы с тобой встретились, из твоей груди раз в месяц текло молоко, которым ты кормила эльфов?

Ангел

Арсения пришла все в том же невидимом никому, кроме него, прозрачном целлофане, от которого после его исчезновения в воздухе остался только легкий хруст, а остальное растворилось без следа. Сначала в домофоне раздался ее голос, потом было слышно, как загудел лифт, и Шарманщик открыл дверь на площадку, не дожидаясь, пока зазвонит звонок. Она вошла, похрустывая воздухом вокруг себя, высокая, смуглая. Шарманщик опять отметил, что у его гости полные губы. Он не любил узких губ, потому что боялся их. Он вообще побаивался женщин, и особенно тех, у которых узкие губы, и особенно молодых. Когда ему было пять лет, бабушка сказала ему, смеясь, что узкие губы – значит злая тетя, а полные, как у мамы, – значит добрая. Он понимал, что это чепуха, однако со смеющейся сорок лет назад бабушкой совладать не мог. Может быть, потому что продолжал ее любить.

Он провел гостью на кухню и стал накрывать на стол.

– Давайте, я помогу.

– Конечно, – сказал он, – конечно.

Теперь она живет в Москве и, наверное, будет заходить к нему время от времени. Почему бы ей и не помочь ему накрыть на стол?

– Как на новом месте? – спросил он.

– Хорошие преподаватели, – сказала она. – Лучше, чем у нас.

– Гнесинка держит планку...

– Знаете, дело, кажется, во мне. Видите ли, скорее всего, Москва – мой город. Когда я сюда приезжаю, я начинаю слышать музыку уже с вокзала.

– Это как? – спросил Шарманщик машинально, аккуратно отвинчивая пробку у бутылки с вишневым соком.

– Она вот здесь, – и Арсения прижала расправленные ладони к подмышкам.

– Можно послушать? – спросил Шарманщик.

– Да, – сказала она. Она так и стояла с плоскими ладошками выставленными из подмышек вперед.

Он подошел, сел на стул рядом, потом приложил ухо к ее груди, отметив, что, слава Богу, она не носит, как все, топа, который обнажает живот. Сначала он ничего там не услышал и решил, что ему мешает зрение. Он прикрыл глаза и прижался плотнее. Какой-то шум, конечно же, был под ухом, но ведь это мог быть шум от того, что он слишком сильно прижался, или еще это мог быть шум от пульса его собственной крови, или от того, что его голова все время шевелилась, и от этого могла шуметь материя ее кофточки.

Через некоторое время он услышал лязганье, похожее на то, когда к составу подгоняют тепловоз, потому что провода, на которых ходит электровоз, здесь почему-то кончились, как например, в Вышнем Волочке, и теперь, после сильного лязганья буферов, спереди пойдет уже другая тяга. Потом на некоторое время настала тишина. Шарманщик уже хотел встать, но в этот миг ему показалось, что далеко, где-то за поездом, метрах в сорока, запела птица. Он даже узнал, какая именно. Серый дрозд. Он попытался его увидеть с закрытыми глазами, но у него это не получилось. Тогда он решил представить человека на перроне, который идет, ну скажем, смазывать или подвинчивать что-то под вагоном, или чем они там еще занимаются. Человек проявился лучше и почти сразу. В руках у него был фонарь, который раскачивался из детства Шарманщика, когда на тайной станции ночью говорил, ни к кому не обращаясь, гулкий репродуктор и раскачивался фонарь обходчика под вагоном, и от этого под полом вагона ходили тени. Еще пахло цветущей липой, но он тогда еще не знал, откуда был этот сказочный запах. А женский голос с эхом продолжал говорить пустым перронам и загадочным застанционным

далям с блестящими рельсами и желтыми и зелеными огоньками, чтобы мастер второго депо зашел в диспетчерскую.



– Серый дрозд, – сказал Шарманщик. – Июнь.

– Слушайте дальше.

Теперь он различил совсем другие звуки. «Не надо, – сказал женский голос. – Ангел, мой, не надо». Шарманщик попробовал снова увидеть, кто там говорит, но на этот раз у него не получилось. Он решил, что событие – из прошлого. Сегодня никакая женщина, даже самых утонченных традиций и воспитания, не скажет своему мужчине «ангел мой». Она даже «любовь моя» сегодня не скажет. И Шарманщик задумался, а как же сегодня женщина говорит слова нежности мужчине, но вспомнить не смог, как ни пытался. Тогда он попробовал вспомнить, как его называла жена, а потом Надя, но снова не вспомнил. Жена, впрочем, называла его одно время каким-то смешным словом, но он уже успел забыть, каким именно, а в общем, он почувствовал себя сейчас совсем безымянным. Поэтому он попытался вспомнить имя своего Бога и не смог. Тогда он сказал про себя, что знает, по крайней мере, как зовут его самого, его зовут Шарманщик. Это было уже кое-что. Был Шарманщик и тот, кого кто-то назвал «мой ангел». А раз это произошло, то теперь можно жить дальше, и он почувствовал, что эти два имени раскачиваются вокруг него, как два фонаря над перроном – один сзади, а второй перед ним. Он отвел голову и снова прижал ухо к груди. Теперь он услышал, как бьется ее сердце, и почувствовал ее грудь на своей щеке. Он вслушивался, потому что пока он вспоминал имя своего Бога, мелькнул и скрылся, словно край сарафана летом, отрывок чудесной мелодии, легкой, неделимой и движущейся сразу в две стороны – по времени вперед и по времени назад, но это была одна и та же мелодия, и, хотя она двигалась в разные стороны, на самом деле было ясно, что это одна сторона. Там, внутри этой мелодии, была какая-то идея, а вернее говоря, какое-то звучание, а точнее, даже не звучание, а что-то вроде шуршания ежика под луной, но не ежика вообще, а того самого ежика, ну ты понимаешь, одного, а не другого, у которого от этого золотые говорящие глаза, и не говори, что от него пахнет мышами.

– А от него и не пахнет мышами.

– Конечно, не пахнет, – сказал Шарманщик, залезая по уши в волшебную разнонаправленную музыку, которая теперь вилась как дым из кирпичной трубы, восходя к светло-зеленым звездам, а те от этого не делались ни ближе, ни дальше, а просто жили для себя, Шарманщика и всех остальных, и это было самое главное их дело, которого, они, впрочем, не замечали. А музыка была похожа на Моцарта, но только если бы он не играл ее при помощи оркестра, а просто подошел бы к тебе, посмотрел в глаза, и вся она тогда сразу бы и прозвучала. Однако при этом она одновременно тянулась бы все дольше и дольше, все медленней и медленней, пока не остановилась бы и не стала переливаться в другом направлении, обратно. А потом загремела цепь и залаяла собака. «Ты не уходи пока, пожалуйста», – попросил Шарманщик музыку, и Арсения сказала, что она не уйдет. «Я хочу услышать, как набирается из-под крана цинковое ведро», – пояснил Шарманщик, а вокруг лежит снег, которому от роду десять минут. Потом он услышал, как лязгнула ручка ведра у барака напротив, а потом вышел толстяк такой ангел – белый, плюшевый как дед мороз и заладил какую-то ахинею: бу-бу-бу да бу-бу-бу. Снег все шел и шел, и Шарманщик, прижавшись к ее смуглой коже ухом, слышал, как он тихо падает у Арсении в животе.

Приют

Следующий листок Арсения нашла на чердаке у Луки. Для этого ей пришлось уехать из Петербурга и доехать до самого Адлера, потому что накануне она получила эсэмэску, посланную с анонимного компьютера, в которой был обозначен адрес горного курорта. Она и сама не знала, почему она поехала. Просто собралась и поехала, вот и все. С ней такое, к неудовольствию родителей, уже бывало. Правда нечасто.

Поезд шел больше суток, в купе было душно, и в громкоговорители крутилась бесконечная попса. Но вот, приехали.

Посреди Адлера величаво, как фрейлина посреди зала, стояла торжественная весна в серых дроздах, светлой листве и белых барашках моря. Утром, когда она вышла из поезда, было еще холодно, но она не удержалась и уговорила Луку, который ее встречал (она позвонила ему перед отъездом по номеру, означенному в той же эсэмэске), и они прошли прямо на пляж, к морю. Она не видела моря несколько лет и теперь разулась и вошла в воду.

Вода была холодной, и ногам было больно и щекотно от гальки. Пахло йодом и свежестью. Жирная чайка лениво парила на одном месте, раскормленная как крыса. Время от времени ее сносило вбок, и тогда она, капризно шевельнув крыльями, возвращалась на прежнее место. А то место, откуда она ушла, пустовало лишь миг, потом его заполняла другая чайка, такая же раскормленная, но невидимая, потому что была из воздуха.



Сейчас Арсения повернется и уйдет с кромки прибоя, и нишу, образовавшуюся от того, что она вынула себя из этого шуршащего места и перенесла в другое, осыпающееся, тоже заполнит фигура – другая Арсения, не менее, а может быть, и более прекрасная от того, что ее никому не видно и у нее нет костей, которые когда-нибудь станут старыми, а потом сгниют и распадутся под землей, и нет волос, которые тоже выцветут, и нет глаз, обреченных в конце концов потускнеть и высохнуть. Но в том дело, что та Арсения, которая неподвластна этому процессу, не из пустого места появилась, а возникла из той Арсени, которая уязвима временем и тлением, а значит, без тленной Арсени нетленная существовать не смогла бы. Больше того, именно тленная Арсения родила из себя ту, вторую, нетленную, а значит, та вторая каким-то, пока что неведомым образом жила в первой, и не она одна жила, а сколько угодно. Золотые дукаты и цехины воздушного нетления, непорочное сияние вечных мест и уст, сгущенный свет и мед бриллиантового светоносного лона, бога Зевса и деву Леду – вот что носила в себе сейчас Арсения, закинув сумку через плечо, шагая вместе с милиционером Лукой к автовокзалу

и остановке автобуса под обшарпанным рыжим кипарисом, чтобы вечером оказаться в домике в горах и разыскать очередной рассказ о себе и Шарманщике.



И она его нашла.

Действительно, на чердаке у Луки стоял телескоп на треноге, нацеленный в небо, а в дальнем углу среди коробок из-под пива и спирта Royal валялся футляр от главной трубы. Внутри был листок бумаги и маленькая кассета из тех, которые обычно заряжают в автоответчик телефона. Там же было и маленькое зеркальце с металлической ручкой. Когда Арсения посмотрела в него, она увидела свой затылок. И сколько бы она ни крутила его в руках и ни наводила под разным углом, в нем все равно отражался в различных ракурсах лишь ее затылок – темно-русые мелко выющиеся пряди с черепашным бабкиным гребнем. Как работало устройство, она не смогла понять и решила спросить у Луки, но, когда он взобрался на чердак, она спросила его не об этом, а о другом.

– Кто положил сюда этот листок? – спросила она.

– Не знаю, – сказал Лука. – Первый раз его вижу.

– У вас есть знакомый в Москве? – спросила она.

– Конечно, – признал Лука. – У меня в Москве есть много знакомых. Про какого ты спрашиваешь?

– Его Шарманщик зовут.

Лука только сопел.

– Вот это его почерк? – она протянула ему записи Шарманщика.

– Не знаю, – сказал Лука, вглядываясь в листки, выданные из школьной тетрадки в клеточку.

– А он про вас знает. Знает, что вы на свидание с ангелом ходили. Или с бабочкой.

– Многим рассказывал, никто не верит. Больше не рассказываю. Ты откуда знаешь?

– Прочла.

Этот листок, где написано, как Лука ходит в горы, чтобы встречаться с королевой бабочек, Мэб, Арсения нашла по счету третьим. Он лежал в огромном альбоме Леонардо у нее дома.

– Ну хорошо. Так мне можно у вас пожить два-три дня?

– Живи. Пойдем, покажу твою комнату.

И вот что было в листках. Там было не про него и Арсению. И не про Арсению. Про другую женщину – мать Шарманщика.

Самое страшное было – уходить. Она стояла и смотрела мне вослед своими детскими голубыми глазами. В этом больничном наряде – чистой, но чужой какой-нибудь кофте, совершенно нелепой, ни с чем не сравнимой, с нелепой короткой стрижкой, в плотной, негнувшейся и тоже чужой юбке. Главное было не оглянуться на пороге железной двери, которую потом за ним зачем-то запирали, главное было вот это. Но Шарманщик каждый раз шел к двери по длинному коридору мимо телевизора, стоящего у окна в фойе, и сидящих перед ним на стульях и диванах в чехлах чудовищных сумасшедших теток, почти все седых, шел, их всех жалея, сдав ее на руки медсестре или одной из ее полусумасшедших подружек, которых, впрочем, мать никогда не узнавала, но они ее отличали, – шел, чуя ее присутствие за спиной, заплетаясь взором по обоям и дверям палат, шел под неслышную музыку, состоящую из каких-то воплей испугавшейся малолетней дурочки со слюнявым ртом, нехорошего своего дыхания, мяуканья невидимых кошек, процарапывающих ему душу до дна, шел, чтобы мелким орфеем с неизбежностью кошмарного сновидения прямо в дверях все-таки обернуться и – увидеть, как она стоит там, посреди коридора под электрической лампой, и смотрит ему вослед, губы ее шевелятся, а глаза светятся как бледно-синие лужицы. И нечесаная подружка с нелепым волевым лицом поддерживает ее за локоть и тоже смотрит... Теперь надо было выдохнуть, спуститься с лестницы, пройти мимо толстого и седоусого вахтера, сидящего за телефоном, и выйти на асфальт с сосновым бором, прямо впритык к подъезду. На подъезде надпись – «Психоневрологический интернат». Миновать асфальтовую тропку, ведущую к воротам, сами ворота, свернуть направо к газовым трубам, испещренным матерщиной и цветными граффити, тянущимся поверх земли, мимо трансформаторной будки или там котельной и лишь тогда разрешить плечам волю трястись, а слезам – катиться.

И сколько он ни зарекался, не оглянуться не выходило. И если возраст Евридики, которую в великих операх мира и на всех его континентах Орфей регулярно терял перед самым выходом к свету, так почти и не расслышав ее голоса, если ее возраст и не был нигде обозначен, то мать с каждым визитом Шарманщика и с каждой его прощальной оглядкой молодела и хорошела. Не теряя старческой ауры, в морщинах и с незаживающей раной на носу – следом не очень удачной операции с применением жидкого азота, не теряя этого облака прежней жизни, а вернее, этого скрутившегося осеннего ее листа, облика – жалкого, старческого, растерянного каждой чертой, кроме, пожалуй, голубых внимательных глаз, в которых плавало синее небо, – так вот, не теряя этого выцветающего призрачного одеяния итоговой жизни, в которой она была старухой, примерно такой, как и все остальные дожившие до восьмидесяти с лишним лет, – не утратив этого облика до конца, она просвечивала сквозь второстепенную свою оболочку новой, почти нестерпимой красотой, схожей по контрастной своей невозможности лишь с лунными русалками Гоголя. И чтобы окончательно не спятить, Шарманщик гнал от себя этот бледно сияющий, как огонь на солнечном свете, почти прозрачный образ, пытаясь сосредоточиться на более привычном, хотя и нестерпимо жалком ее обличье, ведущем к спазмам, соплям и реву. Но чем больше он пытался сосредоточиться на ее морщинах, живом мясе на крыле носа, на рте без потерянных в больничных лабиринтах верхних вставных зубов, чем больше он фокусировался на ее нелепой девичьей прическе (густы были волосы, обкорнаны, прекрасны), чем больше он объяснял ей, что его зовут совсем не так, как звали его отчима и ее мужа, который об эту пору давно уже помер и чьим именем она его упрямо называла, – тем вернее эти

старческие и маразматические приметы ускользали от него. И тем сильнее сияла ее несравненная, цветущая красота, превышающая даже ту, которую он видел на фотографиях матери, где затвор запечатлел ее в окружении академиков, лауреатов Сталинских премий, профессоров и космонавтов, ибо красота эта (ставшая причиной ее главной беды – или он это сам придумал?) долго не хотела ее покидать. И вот теперь она расцветала страшным превышающим старость и смерть цветом. Он видел чуткую девочку восемнадцати лет с глазами цвета васильков во ржи, с белоснежной и хрупкой шеей, никогда не хотящей поникнуть, и легкой походкой, разбивающей чашками колен колокол юбки, влачившей вдоль неутомимых ног бледные отрепья влажного света.

Он не был уверен, не был, что она всегда не понимает, кто она такая, как ее зовут и где она оказалась. Ведь она могла понимать это в какие-то другие минуты, например тогда, когда его не было рядом. Хорошо, что он ничего не знает об этом, а может только догадываться и сомневаться, сильно надеясь при этом, что это все-таки не так.

Рисковый человек

Шарманщик думал про Брейгеля, про его Вавилонскую башню. А что если это ад, вывернутый к небу? Потому что если ад у Данте – воронка с разными причудливыми персонажами, начиная с тех, кто ничего не совершил в жизни из-за своей малости и нерешительности, и заканчивая тем местом, где в Коцит вмерз Сатана, то там же есть такая точка, где все переворачивается. Она расположена на голове как раз Сатаны, прямо посреди его косматой головы или где-то на другом косматом месте. Он не мог точно вспомнить, где это место, но это было неважно, а важно было то, что Вергилий и Данте, достигнув этого места на теле Сатаны, чтобы двигаться дальше, теперь переворачиваются вверх ногами, а если они это делают, то в этой точке и ад должен тоже, может, явно, а может, и не очень явно, а по большей части невидимо перевертываться, выворачиваться наизнанку и вверх ногами. А вот место, где это выворачивание видно, надо еще поискать. «Хотя, конечно, с этим лучше не связываться без надобности», – подумал Шарманщик, но рассуждения все же продолжил.



Раз мы что-то представили, оно существует. Вот только где и когда? Но вот Брейгель понял, что вывернутый ад вполне может обозначить свою гигантскую воронку вверх ногами где-нибудь на земле. (Код к этой задачке он оставил, если внимательно взглядеться в изображение, заложив его в форму облака слева от вершины башни, и форма эта воспроизводит как раз воронку «правильного» ада, от которой отталкивается земная, а вернее, надземная башня). И если первый ад был полым, то вывернутый должен быть тяжелым и заполненным. И если там, под землей, наверху были никчемные люди и ангелы, не способные ни на добро, ни на зло, такие все сплошь чеховские персонажи, а внизу — вмерзший в лед Сатана, то в Вавилонской башне никчемные будут в самом низу, рядом с морем, пристанью и кораблями, там, где плоскость башни распространяется по земле и ее городам, упертым в эту землю и эту плоскость, а Сатана на самой ее вершине – там, где начинается небо с облаками.

«Так-так, – заволновался Шарманщик, – и что же тут получается такое, что из этого следует в таком случае?» А следовало из этого вот что. Из этого следовало, что большинство людей – никчемные, раз они находятся вровень с низом башни. И города их – лишние и чеховские. И плоды рук их ни к чему не приводят, и могут они что-то делать или могут ничего не делать – это все равно, потому что ничего в действительном мире они сделать не в состоянии. И именно из них-то и состоит в основном весь народ земли. А выше всех на такой земле (а что, разве есть

какая другая?) находятся предатели – те царят прямо рядом с Сатаной, под облаками. И если в аду обыкновенном он их пожирает, то в вывернутом ласкает и наделяет всяческой властью, вызывающей зависть у тех, кто ниже. А кто ниже – насильники, убийцы, дающие в рост, то есть продающие деньги по Марксу, все банки, весь большой бизнес – начиная от российского газа и нефти и кончая израильским оружием, потому что ныне все это идет через банки и деньги, хочешь ни хочешь, становятся товаром, а значит, все дающие в рост – компания очень современная и многочисленная, и отсюда выходит, что не только венецианский Шейлок виноват, потому что брал в рост, покушаясь на кусок живого мяса прямо из твоего тела, а и современные евреи и гоим виноваты не меньше. Потому что они не только покушаются, но уже и отрыгают. От земли и от людей поочередно.

А если зайти с другой стороны, снизу, то там будут парить над землей на высоте примерно десятиэтажного дома Паоло и Франческа, нарушившие запрет недозволенной любви. И Шарманщик порадовался, что хотя тут и есть много тонкостей с этим вывороченным миром и иерархией греховности, но все же, если отложить их на время в сторону то ясно видно, что убийство некогда за свое чувство любовники здесь парят, окрыленные своей преступной любовью, выше земли и выше голов других, не столь преступных, но зато и невлюбленных. И конечно же, парят они не только выше земли, но и – расширяясь от башни, уходя от нее на любое желательное расстояние, потому что раз это вы-воротка, то все, что в невывороченном, обыкновенном, аду помещалось внутри, здесь должно разместиться снаружи. Причем граница этого размещения, там где вывороченный мир соприкасается с нашим, обыкновенным, должна пульсировать и искрить. Пульсирует она туда и сюда примерно так, как большие качели, или даже медленнее и прозрачнее, как, скажем, океанские приливы и отливы. И там, где край вывороченного мира встречается с невывороченным, должны случаться загадочные вещи – рождаться гении, пропадать люди и города, время идти назад, зачатие делаться непорочным и царить чистая вероятность и бессмертие. В этих местах существует бесконечное количество вариантов для любой жизни и судьбы, причем сразу и одновременно. И тот, кто стоит на этой границе, очень легко – интуитивно он чувствует это – может выбрать любой из них прямо сразу и без всяких хлопот или обычных трудных усилий. И ангел прошептал Шарманщику в этот момент, а как это случилось, Шарманщик так и не понял, прошептал, что некоторые выбрали деньги, некоторые – поход на Россию и право на свою собственную Французскую империю, некоторые (люди невероятной внутренней силы) – Тайную Вечерю в Милане или театр «Глобус» в Лондоне, но никто не выбрал – любви и счастья. «И знаешь почему? – прошептал, изогнувшись с неба, ангел в ухо Шарманщику. – Потому что несчастье – ваше сокровище. И вы сплошь выбираете его».



И Шарманщик как-то сразу поверил ангелу. Потому что однажды, когда его сбил грузовик и он упал с велосипеда и разбился насмерть, душа его чуть не улетела на небо навсегда, но вот такой же точно или даже этот же самый ангел присел на втулку вращающегося колеса, опрокинутого в кювет, и позвал его далеко ушедшую душу. И душа Шарманщика сдернулась с неба, вернулась обратно. С тех пор он уважал ангелов и верил в них.

И еще Брейгель понял, что, находясь теперь на вершине башни под облаками, Коцит размерзся, и там, где он находился, на самом верху Башни, забил источник. Имя ему Майя, Иллюзия или Цитата. Воды его сбегает с боковин башни бесшумными и прозрачными каскадами ярусов и пилонов, и потом распространяются по всей земле как прозрачное стекло, пронизываемое для людей, кораблей, ласточек и травы. И когда их потоки достигают людей и их душ, то люди перестают жить своей собственной глубокой жизнью, которая рождается в собственных их душах и в собственном источнике живой и ни на кого другого не похожей жизни, и начинают жить не там, а на своей поверхности, совершив выворотку вослед башне. Теперь они живут не своей жизнью и умирают не своей смертью, а – подражая. Сначала богатому соседскому мальчику, потом успешному юристу, или психологу, или президенту, или неважно кому. Богатой проститутке или бедному поэту (что почти вывелось. Имею в виду подражание поэту). Или благородным убийцам, заполонившим телеэкраны, или стерве, которая гордится тем, что стерва не кто-то там вдалеке, а именно она сама – стерва. Или даже еще кому-то, еще не очень конкретному, но кого можно цитировать точно так же, как одна из башен-близнецов цитировала другую, пока обе не сгорели и не развалились. Люди боятся собственной уникальности. Они стремятся не создать свою жизнь изнутри, а повторить снаружи, процитировать то, что было сказано до них. А сказано было до них, что мир зол, что всем вечно всего не хватает и никогда не хватит. Что в поту и труде. Что в скорбях. Что ты умрешь. Что другой тебе враг. Что богатый прав. Что счастья не бывает. Что мы не боги, а черви. Блажен обокравший. Убей, а то проиграешь. Не будь дураком, солги. Посылай на хер. Подставляй что надо кому надо. Забей на подробности – возьми прайс. Сотвори бизнес. Пройди кастинг. Соверши шопинг. И отъебись от нас, ради Бога, отъебись поскорее.

И сколько бы Иисус, например, или другие пророки ни утверждали обратного, их слова цитируются, но в расчет не берутся. Потому что Цитата позволяет себя использовать так, чтобы сильнее вогнать тебя в землю праха. Это и есть ее настоящая цель. Но даже земля праха – иллюзия.

Земля Сеннаар

Потом он взял в руки веер, подпрыгнул на месте, и указал кончиком веера на станцию метро «Калужская». Там он и очутился. Причем лицо его было раскрашено в красные полосы, что в театре Кабуки означает силу и добрый нрав. Потом он закрыл глаза и вгляделся в зеркало, воображаемое им точно так же, как веер и красные полосы на щеках. Он вглядывался в себя, в свое отражение и настраивался на то, чтобы рассказать матери в приюте какую-нибудь историю, а потом помолиться рядом ней вслух. Потому что, когда он молился, она, ничего до этого не понимавшая, вдруг начинала слушать, лицо ее светлело, и она слушала внимательно, лишь изредка приговаривая: хорошо! как хорошо! Он закрыл глаза и от этого оказался в темноте своего Я. Там он еще раз повторил все движения – они были безупречны, пластичны. Хор уже начинал наигрывать свою волшебную музыку. Ему теперь не требовалось никаких сил, чтобы все нужные движения произвести и нужные слова сказать, и от этого матери станет светлее и лучше. Хотя, конечно, выйдет так, что это будут другие слова, но он все равно будет верить вопреки очевидности, что для них ему не надо никаких специальных сил. Как Единорогу, бабочке или самокату.

Он снова открыл глаза. В сумке бултыхалась бутылка кока-колы и лежала шоколадка с изюмом «Альпен-Голд». Сначала он по неопытности приносил всего много, но мать никогда не помнила, что у нее в холодильнике что-то лежит, да и про сам холодильник она тоже не помнила. Поэтому она ела с рук. Все, что можно съесть сразу, не откладывая.

Спуск к больнице он прошел быстро, как Мирон с его Дискоболом, миновал усатого вахтера – сразу запахло кисловатым, неприятным запахом щей – тот переписал уже, наверное, в сотый раз слова с его паспорта в свою гостевую книжку и пропустил. И вот эти слова:



На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сennaар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели расеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле.



АЛФАВИТ ИВРИТА		
ג 3 гíмэл	ד 4 дáлет	ה 5 hэ
ח 8 хэт	ט 9 тэт	י 10 йод
מ 40 мэм	נ 50 нун	ס 60 сáмэх
צ 90 цáди	ק 100 коф	ר 200 рэш

Пусть зрение впереди языка, как какого-нибудь марафонского бегуна, чтобы оно успело сбегать вверх и вниз, обежать башню по и против часовой, и обдиралось о кустарники и цеплялось за сучья, и отдыхало на океане с парусами, которые внизу. А на корабле на мачту лезет маленький матрос, и давайте посмотрим на этого почти незаметного, почти что нулевого матроса, который тем не менее, не вдаваясь ни в какие соображения по поводу своей мушиной, мелконасекомой малости, все же лезет туда, куда ему надо, и с того места, где он находится, уцепившись за веревочные перехваты лестницы, высота для него очень даже немалая, и если оттуда сорваться, то кончится плохо. А вместе с ним лезет вверх целый мир и судьба – например, его семья, которая осталась на земле далеко отсюда, а он отдельно лезет на мачту, а семья его живет совсем в другом городе и, возможно, сейчас слушает какую-нибудь музыку, если праздник, или в церкви, или мать, например, кормит ребенка грудью и учит говорить «папа», а у того тоже целый мир перед глазами, и все ангелы летают как бабочки, белые, бескрайние, веселые. И если этого матроса никто и не видит, то он, конечно, все равно видит в памяти, как они прощались, и в воображении, как они встретятся.

А потом взгляд-солдат-марафонец огибает башню и старается не цепляться за отдельных людей, а добраться с разгона до верха, но вновь ничего не получается, потому что он застревает на крошечной фигурке, которая мочится на глыбу белого мрамора, а потом на другой, которая разворачивает повозку то ли с дровами, то ли со строительным материалом. Но все ж поднимается взгляд до тех высот, где смешиваются языки, и слышит там разные вещи – и радостные,

и печальные, но слов не понимает, да и зачем взгляду их понимать. Вот стоит Нимрод-Царь, а вот рядом с ним в ногах его валяется бригадир строителей, должно быть, хочет сказать, что работы накрылись, но Нимрод его все равно уже больше не поймет, а поймет каждый лишь то, что он думает сам, и для него это теперь самое главное. А что вы делаете здесь, ребятушки? А делаем мы здесь себе имя. Да как же, ребятушки, вас понимать? Как это имя можно себе делать, каким, объясните, нам, русалкам-загадкам, образом, пожалуйста. А мы и сами не знаем, как это происходит, но только будет оно, это имя, как царица русалок – большое, чешуей под солнцем блестящее, выпуклое и грозное. А мы будем в него входить и выходить, и уже никогда нас не забудут на земле, что бы с нами потом ни случилось, кого бы ни рассек враг саблей или, например, ужалила змея, или просто от старости помер, а имя все будет стоять, чешуей блестеть под солнцем да глазами смотреть на землю и птицам повелевать да червякам в гробах и на пахоте. Так, значит, вы до конца не умрете, ребятушки, а в имени жить будете? Только вот непонятно, как мы с вами разговариваем, потому что ни вас нет, ни нас, а просто ветер над дырой воет. Что ж за дыра-то? А кто ж ее знает, что за дыра. Такая дыра, что лежит она в поле меж вами и нами, а рядом растет дерево. И если ближе подойти, то видно, что и поля-то нет, ни дерева, а только дыра есть, да словно в ней шепчется кто-то. Так-то ребятушки! Хорошо, русалочки. Стоять граду Вавилону вовеки!

А потом взгляд-вестник улетает в небо, где крошечные птички кружат над похабным колоссом, разросшимся вдоль и поперек, разжиревшим от языковой энергии и жиревшим бы и дальше, если бы не усох один огромный красный язык, высунутый из земли небу, и не раздвоился-растроился-размельчился на тысячи маленьких, позанырнувших обратно всем строителям и горожанам в их рты, чтобы понимал каждый свое, а не чужое, чтобы башня перестала жиреть и осталось бы место, чтобы летать птицам и плавать как дирижаблю одному важному на все века слову, которое они перестали различать.

– Зинаиду Николаевну позовите кто-нибудь! Зинаиду Николаевну, к ней сын пришел! – кричит подруга матери в глубину коридора, откуда несет кислятиной шей и где сидят сумасшедшие тетки, уткнувшись в телевизор, а мать там никогда не сидела, сколько б он ни приходил. Тогда от ее крика толстая девка начинает кричать басом без слов, и к ней подходят две тетки из больных и пытаются ее уломать, но та ни в какую. Потом она как-то замолкает, а к Шарманщику застенчиво подходит одетая в темное платье молодая сумасшедшая, ничем не отличная от десятка его знакомых, особенно в то время, когда он жил в доме художников, среди художников и художниц, которые выглядели не менее, а, наверное, более сумасшедшими, чем эта женщина, особенно по вечерам, когда их пьяные мужья возвращались по коммуналкам. Она просит у него сигарет, и он лезет в карман, достает пачку и в который раз пытается отдать ей все целиком, но она отнекивается и, стесняясь, достает три штуки, зажимает в кулаке и быстро отходит.

Потом в глубине коридора появляется мать, которую по бокам торжественно ведут две преданные тетки, а она всматривается вперед, все всматривается, пока не увидит его. Она, конечно, не сразу понимает, кто это, и лицо у нее какое-то время напряженное и растерянное, но потом испуг проходит и она улыбается. Поняла, что кто-то для нее хороший пришел. Он берет ее за руку, целует, прижимает к себе ее худое тельце, стараясь не задеть щекой кровотокащее крыло носа, потому что только задень и польет, и ведет ее за железную дверь, на лестничную площадку, где стоят два пластмассовых стола и несколько стульев.

– Это мы куда идем?

Там он усаживает ее за один из столов, садится напротив, лезет в сумку и достает кока-колу и шоколад, вынимает два пластмассовых белых стаканчика, разливает шипучку, размывает плитку и раскладывает кусочками по фольге.

– Это, как это, все, все это, – говорит она и смеется, и он понимает, что она говорит, что рада, что все так вкусно и нарядно, что он позаботился и устроил настоящий праздник.

– Кушай, мама, – говорит он.

Она берет кусочек шоколадки, кладет в рот и сосет.

– У тебя все хорошо? – внезапно спрашивает она светским тоном.

– Все хорошо, мама!

Потом он видит, что она напрягается, держит ускользящую от нее паузу сколько может, ежесекундно забывая для чего, но с огромным трудом возвращая утраченную память к этой очень важной для нее вещи, потому что, если не подавать виду, как это важно и невыносимо, то судьбу можно будет заговорить, обмануть еще раз, и она еще раз поддастся и выпустит. И тогда, собрав все свое мужество, ежесекундно вместе с разъезжающимися во все стороны мыслями просыпающееся на землю, мать спрашивает.

– А когда меня заберут отсюда? – спрашивает она.

И он начинает врать, что скоро. Потом рассказывает какую-нибудь чепуху про свою подружку, мать слушает и смеется.

– И значит, все, пусть будет все хорошо! – говорит она заученно бодрым голосом, автоматически заклиная судьбу, которую заклинять ей удавалось десятилетиями, пока та не заклала свою состарившуюся дочь и не привела сюда на привязи.

– Скажите нам, русалкам-гадалкам, говорят они, подпевая, пошло ли ваше имя за вами? Пошло оно за нами, расписное, из Wrigly Spearmint сделанное, из чуда-юда, кока-колы, халвы и праздника. А вот мы забыли свои имена, говорят русалки. И мы забыли свои, – говорят строители и матросы, глядя, как отдаляется от них земля и небо. Ну и ладно, говорят русалки и, изогнувшись млечным своим телом, белой сверкнув малой грудью с сосцами-звездами, сияющий след в волне оставляя и брызги – в воздухе, уходят в изумрудную глубину, где их не увидеть даже матросу со своей высокой мачты.

– Ты уже уходишь, Миша? – встревожено спрашивает она, называя его именем отчима, глядя, как Шарманщик застегивает молнию на сумке.

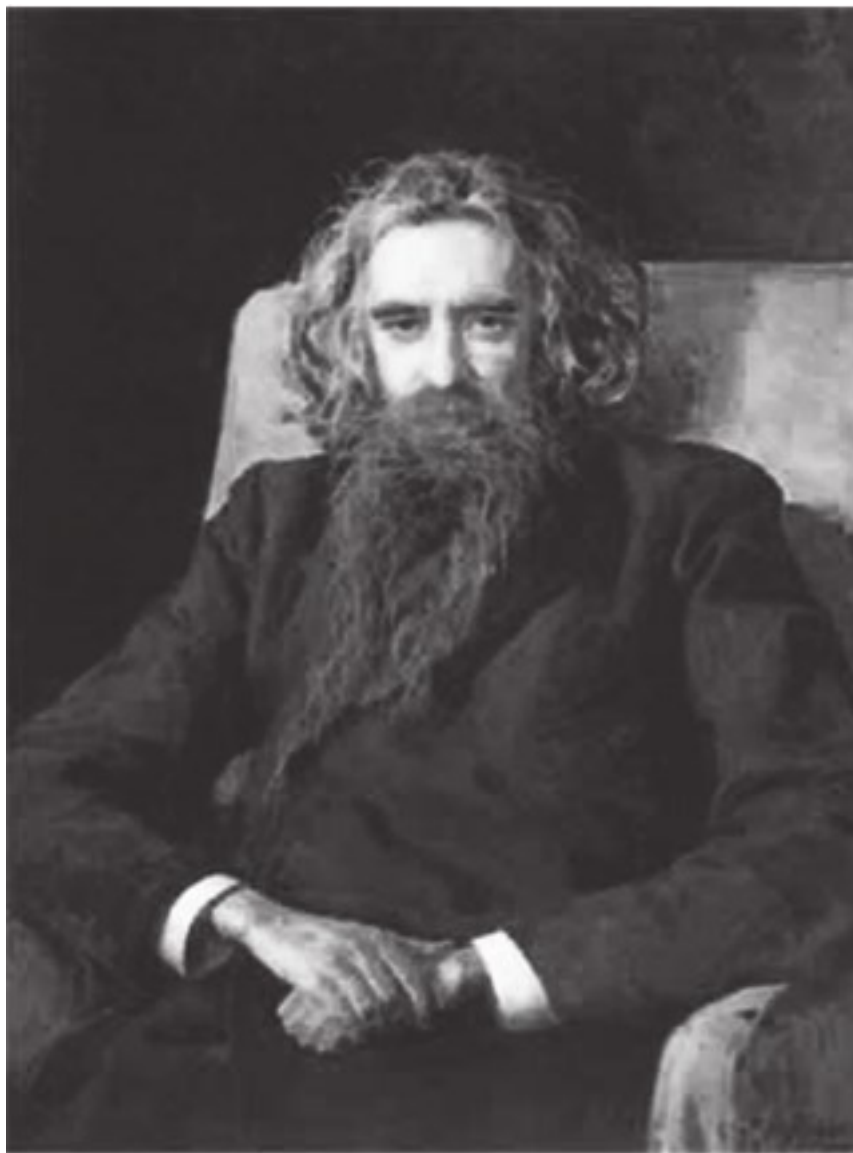
– Пойдем, мама, – говорит он, – я никуда не уйду.

– Ты не уходишь?

– Нет. Пойдем, – и он вводит ее за железную дверь в коридор с полоумными тетками и, отыскав материну подружку, оставляет ее с ней. Теперь самое главное – снова дойти до железной двери, скользя слепыми предательскими глазами по обоям, номерам палат, по линолеуму пола, и не обернуться назад, потому что Шарманщик знает, что они там обе стоят посреди коридора и смотрят ему вослед. Две старухи, одна чуть повыше другой. Она все забудет через минуту, и то, что ты приходил, и то, о чем вы говорили. Ты сделал все, что мог, все. Иди. Иди, не оборачивайся. Но он знал, что обернется.

Сатир

Прежде чем Владимир Сергеевич подрался с бесами на пароходе, пострадав от этого более физически, нежели нравственно, с ним случилось много странных и смешных событий, так сказать, подготовивших этот злополучный эпизод. Конечно, я не все знаю, и часть его фантастических походов доходит до меня лишь со слухов, из третьих рук, но некоторым из них я сама была свидетельницей, а хорошо зная этого человека и уважая его, прежде всего как друга моего мужа, я интуитивно чувствую, что действительно имеет отношение к его незаурядной, хотя и во многом преувеличенной личности, а что, скорее всего, является достоянием молвы. Поэтому в битву на пароходе, в которой участвовал наш философ с одной стороны и несколько чертей – с другой, я верю. Говорят, что он выбежал на палубу из своей каюты совершенно в диком состоянии – всклокоченный, с порванным сюртуком и сверкающими глазами. Одним словом, бесам он не дался, хотя тут же, на палубе, и повалился в глубокий обморок. Не знаю, чем он их взял, словом или делом, но нечистые твари отступили от рыцаря Пресвятой Софии, нанеся ему лишь незначительный урон. Впоследствии он рассказывал, что швырялся в них корабельным обиходом, всем, что подвернулось под руку, а также творил специальные молитвы и заклания и злонамеренное воинство сгнуло, не выдержав обстрела. Но, судя по тому, что В. С. все же убежал из каюты, я склонна думать, что все было несколько мрачней и трагичней, чем в его передаче.



Виктор Николаевич поинтересовался, как выглядят адские твари, и В. С. выпучив глаза пропрыгал несколько шагов по зале, а потом расхохотался и перевел разговор на другую тему. Думаю, что все могло кончиться намного печальней, но, вероятно, за человека, терпящего бедствие и известного своей непреклонной верой в Создателя, вступились дружественные силы, и все закончилось, слава Богу, благополучно. Виктор Николаевич утверждает, что В. С. вполне беспомощен в быту и незащищен перед самыми заурядными обстоятельствами, но я думаю, что это не совсем так. Другой человек на его месте давно бы пропал или сменил область деятельности. Ведь Владимир Сергеевич начал блестящую карьеру в Московском университете. Диссертация его не только вызвала большой шум, но и была отмечена старейшими профессорами как исключительно незаурядное событие в ученом мире. Перед ним были открыты все дороги. Но какая-то исконная нелюбовь к размеренной жизни, без которой так трудно создать что-либо стоящее в науке и оставить след в анналах отечественного просвещения, взяла вверх, и начались события одно другого невероятней. Владимир Сергеевич отошел от кафедры и предпочел жизнь среднюю между жизнью цыгана, дон-кихота и клоуна. Ум свой блестящий он понемногу разменивал на странные статьи, вызывающие отчасти возмущение читающей публики, отчасти почитание и отчасти удивление; профессия журналиста пришла взамен докторской кафедры, и он начал свои бесконечные поездки по всему свету, одновременно создавая

невероятные проекты по переустройству жизни на земле. Он написал письмо нашему государю императору и одновременно второе, которое отослал Римскому Папе, призывая их объединить свои усилия в создании теократического государства. Говорят, что Папа, получив письмо, лишь сказал: «Это было бы так прекрасно, если бы только было возможно!»



Нет, не думаю, чтобы В. С. был так уж беззащитен и уязвим, как рассказывает о нем мой муж, человек добрый и обходительный, друзьям же преданный по-особенному. Когда-нибудь и я расскажу (и я совсем не собираюсь откладывать этого в долгий ящик) то, что знаю о Соловьеве сама, а не от людей. Я запишу подробно наши разговоры, пусть лишь для себя одной, и расскажу про все те тайны, которые он мне поверял и свидетельницей которых я отчасти являлась, а также про те противоречивые и пылкие устремления возвышенной и не всегда отдающей себе отчет в реальной жизни, но благородной души, кои так занимали его незаурядный ум в то лето, когда он снял дачу здесь же, неподалеку от нашего Знаменского, в Морщихе, чтобы, как он выразился сам, «иметь счастье видеть вас чаще, чем прежде».



Его смех... Виктор Николаевич говорит, что обсуждать его неприлично, а я считаю, что неприлично как раз смеяться смехом, от которого прислуга начинает заикаться, а прохожие на улице оглядываться. Ну что ж, ежели наградило тебя естество таким сатирическим, я бы даже сказала, паническим (от слово «пан», что по-гречески означает «все») смехом, возьми себя в руки и одолей естество. Паническим смехом смеялись боги на Олимпе, когда им показали новорожденного младенца, сына Дриопы и Гермеса, появившегося на свет лохматым и рогатым, но то, что дозволено Юпитеру, не дозволено нам. К тому же то был Сатир, исчадие чаш, преследователь нимф и бог плодородия, а не доктор философии.

Про Владимира Сергеевича ходит столько легенд и анекдотов, что некоторые из них я просила его мне разъяснить. Для того хотя бы, чтобы отличить, где правда, а где вымысел. Потому что некоторые правдивые истории из его жизни больше напоминают выдумку, в то время как при уточнении всех обстоятельств, им сопутствовавших, выясняется, что они-то и есть совершеннейшая правда, с ним происшедшая. Например, многие называют его поклонником Софии и обращают внимание на то, что все его светские увлечения так или иначе связаны как раз с теми дамами, которые носят такое имя. Некоторые его научные труды, больше похожие на фантастические истории, также посвящены этому имени и этой Личности. Я попросила В. С. объяснить мне, каким образом человек может общаться с Софией Премудростью, Вечной Женственностью. Каким образом молитва к святой Софии отличается от молитвы к Богу и разве надо отличать одно от другого. И вот что он мне ответил: «София Премудрость – это мы с Богом, как Христос есть Бог с нами. Понимаете разницу? Бог с нами, значит, он активен, а мы пассивны, мы с Богом – наоборот, Он тут пассивен, Он – тело, материя, а мы – воля, дух». Я долго размышляла над этим объяснением, но, кажется мне, ничего не поняла. То ли изложено наспех, то ли я опять сталкиваюсь с тем в нем, что для меня непонятно и непривычно. Лев Николаевич Толстой в своих письмах ко мне выражается понятней и проще. Я попросила разъяснения, и В. С. сказал мне, что София, Вечная Женственность, появляется тогда, когда наше отношение к Богу активно, а Он занимает пассивную сторону. Вот тут-то и появляется на свет его женственное качество или ипостась – София. Философ помолчал, а потом яростно, как мне показалось, добавил: «Когда вы одеваете платье, платье для вас София, прекрасная женственность, вас облегающая, а когда на вас одевают платье, то для него вы – София, поз-

воляющая ему сиять, шуршать и виться». И тут он расхохотался своим неприятным смехом. Надо ли упоминать, что от него, как всегда, пахло скипидаром, будто из столярной лавки.



Пришла нянька, зовет к детям, с которыми сегодня нет сладу, поэтому я оставляю мои записи до завтра. А завтра я наконец-то скажу самое главное и мало кому известное о нашем

знаменитом философе, и сделаю это, отплясывая вальс, а то и мазурку пером по бумаге, с удовольствием, благоговейным обмиранием и без прикрас.

Святой

11 ноября 1875 года в каирской гостинице «Аббат» появился странный господин. Из записи, сделанной в гостиничной книге, явствовало, что господин этот приехал в Египет из Англии, но англичанином тем не менее не являлся. Напротив того, российский подданный Владимир Сергеевич Соловьев прибыл в Каир для изучения арабского языка и в связи с этим занял номер на втором этаже. Портье, отнесший собственноручно тощий чемодан клиента к нему в номер, вернулся за конторку и застыл там в некотором раздумье. Раздумье это, начавшись с небольшой паузы, во время которой жирные мухи безнаказанно атаковали лоб, нос и щеки ушедшего в размышления портье, грозило затянуться, что и произошло в скором времени по неведомой причине, поразившей воображение многоопытного служащего гостиницы «Аббат». Причина же эта прежде всего заключалась в необычной внешности постояльца, которую месяцем позже опишет некий господин де Вегюэ, встретивший Соловьева на квартире своего соотечественника, куда русский путешественник по старому знакомству, случившемуся еще в России, заглянет. В своем письме на родину де Вегюэ дает портрет человека, явно поразившего его воображение.



«На этот раз, – пишет он, – Лессепсу удалось выудить где-то в Эзбекии молодого русского, с которым он нас познакомил. Достаточно было раз взглянуть на это лицо, чтобы оно навсегда запечатлелось в памяти: бледное, худощавое, полузакрытое массой длинных вьющихся волос, с прекрасными правильными очертаниями, все оно уходило в большие, дивные, пронизательные, мистические глаза... Такими лицами вдохновлялись древние монахи-иконописцы, когда пытались изобразить на иконах Христа славянского народа, любящего, вдумчивого, скорбящего Христа».

Но пока что еще никто не описывал в письме внешности молодого философа, приехавшего в Каир якобы для изучения арабского языка, и приоритет в этом деле, пальма, так сказать, первенства, должна быть по праву вручена портье из гостиницы «Аббат», который если и не

на бумаге, то во всяком случае в уме, не менее хватком, чем иной почерк, набрасывал сейчас портрет новоприбывшего и делал это с величайшим тщанием и искусством.

Увлекательное занятие это увело его столь далеко, что одна из мух, почувствовав себя полной хозяйкой расположенной под ней площадки, важно совершила свой мушиный променад по его багровому пористому носу, вниз и вверх, и тоже застыла, но не в размышлении, а в полном удовлетворении, потирая от избытка жизни выставленные перед собой две кривые лапки, а вторая, пожужжав для приличия, уселась портье на верхнюю губу. Тут же случившаяся приبلудная сучка, с глазами как две перезрелые вишни и с целым музеем животных в пыльной свалявшейся шерсти, боязливо поглядывая на застывшего во внезапной медитации араба, протащила как-то боком по стенке и не торопясь стянула со столика за конторкой целую жареную рыбу – весь его ужин на сегодняшний день, причем сразу вместе с тарелкой, которая свалилась сначала на голову сучке, а потом и на пол, но по непонятной причине осталась цела.

Трудно сказать, сколько времени простоял там араб, но то, что рядом с ним в этот момент на конторке лежала книга для гостей в темно-коричневом полопавшемся от старости переплете, – вещь несомненная. А значит, была вероятность, что в конце концов задумавшийся портье каким-то образом все же наткнется на нее взглядом и, в силу увиденного, вернется наконец к своим прямым обязанностям гостиничного сторожа и летописца и не погибнет, так сказать, для истории.

Некоторое время русский путешественник пробыл в Каире, совершая обычные для любого туриста маршруты. На следующее утро, выпив в номере чаю, он отправился на берег Нила. Там он зашел в одну из купален, оборудованных специально для любителей плавания, впрочем, состоящую в основном из расползающихся по швам досок, некогда выкрашенных голубой краской, теперь же почти что совсем облупившейся, и не столько скрывающей купальщика, переодевавшегося в свой купальный костюм, сколько широченными щелями своими расчленяющей его на составляющие части тела – белые голени, еще более бледный живот, узкую грудь и сказанную иконописную голову с мистическими глазами.

Совершив переодевание, он вышел оттуда в длинной рубашке белого цвета, доходящей ему до пят, и медленно погрузился в нильские струи. Со стороны могло показаться, что туловища у человека совсем нет, а взамен его на вздувшейся пузырями белой ночной рубашке покоится одна лишь голова с усами и бородой. Причем, когда глаза пловца закрывались, голова казалась знаменитой иконой, изображающей усекновение главы Иоанна Предтечи, а когда открывались, отчасти напоминала не менее знаменитое изображение другой иконы – Спаса Ярое Око. При всем при том пловец демонстрировал весьма незаурядное искусство плавания, которому выучился, вероятно, на Покровско-Стрешневских прудах, недалеко от которых отец его, ректор Московского университета, историк Сергей Михайлович Соловьев, снимал некогда семей дачу.



Так или иначе, пробултыхавшись в воде с полчаса, приезжий вновь стал взбираться по деревянным ступенькам в фантастическое голубое и эфемерное сооружение, причем во время этого восхождения рубаха так облепила его костлявое тело, рельефно обрисовывая его со всеми, обычно скрываемыми даже от близких, подробностями телосложения, что окажись в это время на берегу в пределах досягаемости взгляда какая-нибудь благопристойная дама, то мы даже не можем как следует сказать, что бы она тогда делала и сказала и в какой конфуз была бы этим вогнутым и выпуклым зрелищем введена. Но дамы вокруг не оказалось, и поэтому философ из России, переодевшись в сухое – черный сюртук, длинный черный плащ-макферман и шляпу, благополучно вернулся в гостиницу.

Муха же, фланировавшая по носу задумавшегося портъе, то есть именно та муха, а не другая, не та, которая сидела на его верхней оттопыренной губе, а та, что потирала от избытка чувств свои кривые лапки, эта самая муха сейчас была уже не в гостинице «Аббат», а совсем в другом месте. Впрочем, мы точно не знаем, была ли это та же самая муха в том смысле, что, возможно их всегда было две, а не одна, но эти две мухи столь искусно вмиг могли прикинуться одной, что их и вправду принимали за одну люди куда более наблюдательные, чем мы с вами, – не знаем, потому что такая история, что две мухи могут оказаться одной и той же и обратно – одна муха может являться в один и тот же миг сразу в двух прямо противоположных континентах земного шара, скажем в Непале и Мехико-Сити, – история эта обычная. Не всем дано

углядеть, как она совершается и разворачивается, потому что еще не родился такой человек, у которого, к примеру, один глаз располагается в Каракасе, а другой, наоборот, в Катманду, и надо сказать, слава Богу, что не родился, иначе это будет уже не Мехико-Сити и не Катманду, а один и тот же человек с далеко друг от дружки отстоящими, можно сказать, растарашенными глазами. Есть также даже люди такие, загадочное свойство коих – одновременно пребывать в городе, например, Костроме и тут же в мадагаскарской тюрьме, а может, еще где и в третьем месте... и даже в четвертом и пятом. Но если мы сейчас начнем про это рассуждать, то неизвестно, когда кончим и куда это нас с вами заведет. Хотя вынуждены предположить, что имеем дело не с досужими баснями, а с основной организацией и сокрытой сущностью всей нашей жизни, до времени скрытой от постороннего глаза. И ежели вы уверены, что вы сейчас сидите в Москве у компьютера, и это все, что случается сей час с вами, и что такого быть не может, что не кто-то другой, а вы, вы сами пребываете прямо сейчас одновременно, скажем, арабским верховым воином на вьющемся под ним как змея черном скакуне, конвоирующим пленного по пыльной дороге, или знатной индианкой, торопящейся в последний вечер своей сорокалетней жизни набрать воды из Ганга, – ежели вы в этом уверены, то напрасно. Но поскольку я вижу, что вы уже не так уверены в этом, как прежде, то вернемся к мухе.



Так вот, та самая муха, которая была одной и той же, а стала двумя, храня тем не менее видимость единственной мухи, теперь сидела на выщербленном носу Великого Сфинкса и делала вид, что наблюдает заход солнца. На этом пока что и остановимся.

Зеленый веер

Следующие несколько дней новый постоялец прожил обыкновенно. В городе у него оказались знакомые, и поэтому он был не вовсе одинок, и даже оказался так, что если бы этих его знакомых – господина, например, Лессепса – в Каире у молодого философа и не случилось, уверяю вас, он нашел бы чем заняться. Так оно и произошло. В частности, он посетил музей древностей, где провел полные два часа, и этим не ограничился, а вернулся туда на следующий день еще раз, чтобы закончить осмотр. Еще через день он уже взбирался на пирамиду Хеопса под надежным водительством сухого и коричневого, словно проявленного, проводника в грязной повязке, замотанной вокруг головы.



Если вы еще не восходили на эту пирамиду, то, наверное, не знаете, какие впечатления испытывает тот, кто хоть раз в жизни на это решился. Во-первых, облака. Если они есть, то кажется, что с ними что-то не так, что они словно собираются вот-вот залезть вам за шиворот. Белые как сахар, они перестают быть вечными странниками, а принимают вид грозных ангелов, как их рисуют на некоторых больших картинах. При этом они стучатся, скребутся и тычутся вам прямо в сердце и начинают свою песню, как только вы отдалитесь от земли на порядочное расстояние.

Сначала они свистят как соловьи-разбойники, и свист этот выворачивает с корнем дубы вашего сердца, которые там выросли из всего темного, ложного, жадного и родного. Потом, по мере набирания вами высоты, свист их становится все мелодичней и тише. И если вы не испугались первого урагана и дерзнули отправиться дальше, то с каждым одолженным на пути к вершине камнем их пение все больше и больше проникает вам в спинной мозг, и вот уже вам ясно, что до сих пор вы не знали себя и не встречали. А что сейчас может произойти такое, что этот вот неизвестный вам отныне человек в сюртуке или джинсовых брюках, карабкающийся по древним камням и носящий почему-то ваше имя и отчество, исчезнет вовсе, а вместо него явится другой – тот самый вы, которого вы знали не сколько себя помните, а еще и до этого знали, не сколько вас помнила ваша матушка, а еще и прежде, и не столько, сколько мечтали о внуках ваши бабушка и дедушка, а и много-много раньше.



А во-вторых... не знаю, стоит ли и говорить-то о какой-то досадной мелочи, несущественной для нашего повествования... но... но скажу. На пути вверх, окинув взглядом расступаящийся оком со всеми остальными пирамидами, Большим Сфинксом и другими необозримыми далями, в каком-нибудь уголке этих далей, загнутым как уголок носового платка, вы непременно разглядите крошечного человечка, который мочится себе на камень или просто в песок и знать не знает о вашем существовании. Эта крошечная трогательная деталь настолько поражала всех живописцев, имевших дело с великими событиями (Революцией, как Марк Шагал, или Башней из Вавилона, как Питер Брейгель), что они никак не могли пройти своим взглядом мимо этой крошечной фигурки, справляющей надобности на фоне мировых артефактов. Видимо, есть в ней, фигурке этой, что-то успокоительное, что-то противящееся всем катаклизмам и катастрофам, всем Антихристам, а заодно и мессиям. Противящееся тому, что Одиссей, например, так жестоко убил Антиноя, или, скажем тому, что поезд переехал на подступе к Москве кошку, или жена взяла да и изменила любимому мужу. Или тридцати миллионам павшим с нашей стороны во время войны и трем миллионам замученным в советских лагерях. И в чем тут загадка, что за магия такая окутывает этого вездесущего писуна, мы не знаем и знать не можем.

Мы не знаем также, что открылось душе и взгляду Владимира Сергеевича, когда он добрался до вершины пирамиды, но думаем, примерно то же, что и его прилежному и хулиганистому ученику Б. Бугаеву. Он увидел (не важно, кто именно, здесь, поверьте, это не имеет ровно никакого значения), увидел, что основание пирамиды перестает расходиться к земле в правильный квадрат огромных размеров, а что края его словно подворачиваются, подвертываются, подстегиваются, словно бы скатываются вовнутрь, что стенка, по которой вы ползете словно муха, перестает быть наклонной и неподвижной и начинает двигаться и клониться, все больше и больше нависая над землей, а вы, вцепившись в очередной каменный блок, с ужасом следите, как пирамида кренится, словно падающая стена дома, в который попала десяти-тонная авиационная бомба, как она, ожив под, вами, начинает свое смертоносное движение падающего с неба дирижабля, что, конечно же, приведет к тому, что вы будете сброшены как неуместное насекомое и не к земле даже, а в долгую зеленую бездну, которая с ужасающей ясностью открывается в этот миг прямо перед вашими глазами.

Явление это известно как пирамидная болезнь. Однако то ли философ из России ей не был подвержен, то ли благополучно справился с ее симптомами, только через несколько минут он уже стоял на самой вершине огромной пирамиды рядом со своим низкорослым сталкером. Его длинная фигура в темном плаще и цилиндре, каким-то чудом не утерянном и не слутым в пропасть, величественно высилась на фоне закатного каирского неба со всеми его блуждающими в нем клеопатрами и антониями, буонапартами и рамзесами, тутанхамонами и изидами, со всеми их млечными хороводами, разряжаемыми розовыми ангелами истории – кружащимися в небе вокруг вершины, заплетаясь в концентрические водовороты и воронки, чтобы к ночи вплестись во вращение звездного небосклона с ветвистыми и мохнатыми огнями. Силуэт философа высился на вершине припильского мира, и ветер трепал плащ и закручивал его, как в какой-нибудь особенно лихой и продувной замоскворецкой подворотне, вокруг костлявых и длинных ног. И тогда Владимир Соловьев полез в карман сюртука и достал оттуда бабочку. Она была невелика – величиной с японский веер зеленого цвета, и ее крылья – оба левые – распрямились и пронзили воздух долины царей, когда философ подкинул ее в воздух. В тот миг пирамида Хеопса осела ровно на величину раскрытого веера, а жизнь Владимира Сергеевича Соловьева в 1900 году закончилось не тогда, когда ему это было предписано судьбой и жизнью, не в тот день, час и секунду, а продлилась ровно на одно дыхание больше, вопреки всем законам мироздания, на одно дыхание – глубокое и свежее, как короткий взмах веера в душевной комнате.



Подруга

25 ноября 1875 года из главного (и единственного) подъезда знаменитого «Аббата» вышел человек в длинном темном плаще, в высокой и темной же шляпе. Зрелище само по себе фантастическое, потому что и Реомюр, и Фаренгейт, и Цельсий не сговариваясь показывали температуру, при которой в России принято загорать на пляже. Но странника это обстоятельство, казалось, не смущало вовсе, так же как и отсутствие при себе какой-либо дорожной сумки с маломальскими запасами воды или продовольствия. На него оглядывались. Какой-то старый араб, сидевший в тени от стены, долго смотрел ему вслед, покачивая головой. Конечно, и араб, и француз, здесь тоже как-то случившийся, сначала покрутив для порядка головой – араб с неухоженными усами, а француз с ухоженными – и гмыкнув себе под нос что-то вроде пр-р-р-р-сык! – через какое-то время все-таки входили в положение странника и признавали про себя, что мало ли какие обстоятельства могут у человека сложиться, что он в результате них одевает на голову не панаму, а цилиндр и вдобавок заматывается поверх костюма плотным английским плащом, может, траур по ушедшей с каким сорванцом жене, а может, так, чудак из России на букву «м», но понять человека можно. Но если б узнали они, куда и зачем в это раннее утро направляется господин в европейской шляпе, они его все же не поняли б. И даже, если бы он им все подробно объяснил, они бы его все равно не поняли. Не поняли, и все тут. Потому что есть такие вещи на свете, которые понимать неприлично. И ежели ты взял их и понял, то сам становишься человеком не просто неприличным, а даже неприличным до чрезвычайности, закосневшим, так сказать, в неприличии, и закосневшим настолько, что и сам ты хорош. И сам ты пошел вон. И сам ты держись подальше, придурок.

Дело в том, что Владимир Сергеевич Соловьев в таком виде и столь ранним утром отправился не куда-нибудь выпить-покурить, а в пустыню. И не просто в пустыню, до которой было тут рукой подать, так что можно было бы в нее и погулять сходить, а к обеду вернуться, – а в Фиваиду, поселение, находившееся отсюда не на расстоянии предобеденной, скажем, прогулки, а за двести с лишним миль. И шел он не по дороге и не с караваном, а без дороги и совершенно один.

Накануне он объяснил своему новому знакомому – русскому генералу Фадееву, что отправляется туда не по недомыслию, а в поисках старинных секретов отшельников, населявших даже и по сю пору эти пустынные места. В письмах же к друзьям Владимир Сергеевич сообщал, что в районе Фиваиды надеется встретиться с масонской группой, владеющей старинными каббалистическими знаниями, утраченными во всех других местах мира.

Но и это была только правдоподобная версия для отвода глаз. На самом же деле Владимир Сергеевич, странник, философ, поэт и не прямой, но явный потомок другого чудака, странника и философа Григория Сковороды, шел на свидание. И ежели вы спросите меня, не на любовное ли, то я скажу, да, на любовное, но прежде добавлю несколько слов по поводу его дальнего родственника. Потому что Григорий Сковорода – это не прозвище какое и не кличка, а фамилия человека, который встретился с Создателем мира сердцем к сердцу, а на могиле своей, после того как обошел несметное количество пыльных, грязных, зимних и летних дорог, под звездами и луной и в пении цикад и кузнечиков, велел написать эпитафию, которую сам же и сочинил. Звучит она так: «Мир ловил меня, но не поймал». И здесь я прошу не спешить с выводами, которые по некоторой поспешности могут привести вас к мысли, что за философом гонялись какие-нибудь полицейские или жандармы, – это не так. Потому что ни полицейские и ни жандармы за ним не гонялись. И вообще не видно было, чтобы хоть кто-то за ним гонялся. А значит, здесь дело в другом.



Вообще, многие слова и понятия раньше означали совсем не то, что сегодня. Иногда и вовсе ни с какой бутылкой не разберешь, что хотели люди сказать.

Я никогда не видел его могилы, хотя и читал его веселые и торжественные трактаты о Боге и мире, и не знаю, где она расположена, но хотелось бы мне, чтобы был он упокоен где-то в васильковом да ржаном поле и чтобы ветер раскачивал над головой его небо с облаками, а в углу поля, в ложине, виден был на просвет Днепр. Не успею, наверное, я отыскать могилу его и приехать, и скорее всего, нет там ни васильков, ни поля, а какая-нибудь есть там церковь, где его и похоронили, когда он отмахал свое по малоросским дорогам, да нынешняя братва крестит там своих первенцев по воскресеньям и угощает попа пьяный пахан, от которого разит «Хьюго Боссом» да чесноком, а вот все же тянет. Тянет прийти туда не знаю куда и сесть на эту целомудренную могилку странника и чудака. Потому что и у пахана может теплиться надежда, что и его не поймают ни с налогами, ни с заграничными банками, ни с десятком-другим исчезнувших без вести соотечественников. Вот Сковороду же никто не поймал, а значит, и у пахана есть равнозначная надежда. А во всякие тонкости словоупотребления он вникать не собирается. Важно суть уловить, а умничать ему ни к чему. И думается мне, что не приду, не сяду, не помолюсь, глядя в синее малоросское небо, полное золотых солнечных лучей и ласточек. Но пока тянет меня туда, мне хорошо. Словно не с одним философом Соловьевым в родстве философ Сковорода, но и со мной, духовным сыном Владимира Сергеевича, тоже.



Итак, философ Соловьев шел на свидание. Третье по счету. Его возлюбленная не баловала своего почитателя частыми встречами. И все же он всегда чувствовал ее присутствие рядом, как это бывает в великих и преувеличенных романах о вечной любви, которые всегда печально кончаются, потому что никто не верит, что такая любовь на самом деле возможна. Он чувствовал ее, когда смотрел на небо, а в волосах его запутывался кузнечик, или когда ехал на извозчике и дождь моросил ему за шиворот, или даже когда его облаивали собаки, которых он любил. И куда бы он ни приходил, в какой бы ни селился гостинице прямо с вокзала, уже через каких-то полчаса на подоконник слетались голуби, десятки сизарей и крапчатых, и начинали стучаться клювами в окна, словно пытаясь войти внутрь и передать послание, отправленное голубиной почтой. Он их не пускал, но подкармливал.

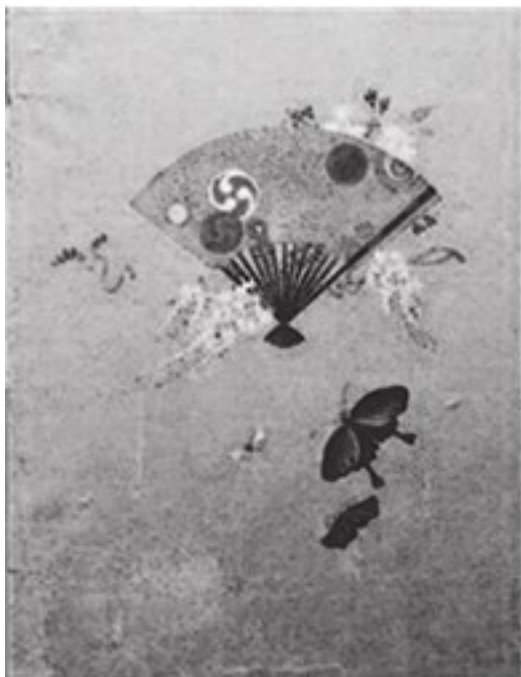
Он влюбился в Нее с первого же раза и на всю жизнь, когда увидел ее мальчиком в московской университетской церкви в честь святой мученицы Татианы. Второй раз он встретился с ней в Англии, не так давно, когда работал над каббалистическими трудами в библиотеке Британского музея. И тоже все было на бегу да отчасти. И именно там, в библиотеке, во время короткой и, как казалось, случайной встречи она обещала ему, что если он поедет тотчас, не откладывая, в Египет, то встретит ее в пустыне. Причем в этот раз она откроется ему не на бегу и не отчасти, а вся как есть. И он поехал.

Сначала поездом в зеленый Париж. Потом в Италию. Потом поплыл из Брундизи Средиземным морем по синим волнам. И вот теперь – пошел. В желтые пески. Туда, где ждала его самая светлая, самая волшебная, самая последняя и бессмертная, страдающая и обиженная краса мира, – в пустыню.

Лев-змей

Перед отъездом из Лондона он зашел в лавочку древностей и купил веер. Продавец, похожий на диккенсовского персонажа, с седеющими пушистыми бакенбардами во всю щеку и морщинистыми как у беркута подглазьями, не торопясь и степенно объяснил ему, что вещь эта старинная и привезена с Востока. Он развернул веер, и на зеленый шелк взлетел алый дракон. Владимир Сергеевич вспомнил, что едет в страны жаркие, и веер купил.

Теперь он лежал у него в глубоком кармане плаща, больше похожего на пальто. Он шел уже целый день и очень устал. Солнце начинало клониться к неровной линии горизонта, отчего серые пески стали отсвечивать золотой зеленью и тянуть фиолетовой тенью. Несколько раз он садился отдохнуть прямо в песок, прислоняясь к большим камням, которые ему время от времени попадались на пути. Ветра не было совсем, и весь день палило солнце. Он сидел под камнем, обливаясь потом, и обмахивался веером с алым драконом. Сначала дракон двигался вместе с веером, а потом начал отставать, не совпадать с ритмом, увеличиваться и подлетать в воздух. Там он махал короткими крыльями и разворачивался вокруг невидимой оси. Таким образом он хранил своего хозяина, время от времени оглядываясь вокруг и впуская и выпуская кошачьи когти, пропитанные самурайским ядом.



Поскольку то, что произошло дальше, является никакой не выдумкой, а чистой правдой, но обычными словами изложено быть не может, то мы для того, чтобы хотя бы попытаться быть понятыми, перестанем рассказывать сказки и байки про масонские ложи и каббалистические секреты, а вместе с философом поднимем веер, делая вид, что не замечаем расположившихся неподалеку четырех музыкантов, а также снующих вокруг ангелов-курумба, служителей пустыни, помогающих событию происходить так, как это было задумано тем, кто в это событие решил впутаться и ввязаться, то есть самим участником. Потому что, как только появляется у любого из нас мысль и решимость ее осуществить, тотчас появляются вокруг нас ангелы-исполнители, и хотя мы их прекрасно видим, но все равно внушаем себе изо всех сил, что это не ангелы, а скажем, порывы ветра, или шум платья, или что это, например, фольга от съеденной конфетки тонко позванивает на асфальте. И делаем мы это не в силу каких-то врожденных и разнообразных поэтических фантазий, а всего лишь для того, чтоб оставаться жертвой обстоятельств, потому что это делает нас по-восточному женственными. Но как только мы поднимаем

веер, приходят в движение ангелы, появляется из-за куч песка отряд бедуинов-кочевников, не то чтобы очень уж агрессивных, но все же людей решительных и вооруженных.

Хай-хай! Они погоняли верблюдов и кружили вокруг вскочившего на ноги путешественника. Лица семерых кочевников были закутаны в полосатые платки, спускавшиеся до пояса, а за плечами двоих бились в такт верблюжьей рыси отличные английские винтовки последнего образца. Хай! Круги сужались, и один из всадников сдернул винтовку с плеча. Хай-олла! За мягкими подошвами бегущих по кругу зверей взвивались в воздух фонтанчики песка, ковры, покрывавшие верблюжьих спины, хлопали о бока, а всадники раскачивались наверху, балансируя головами, замотанными полосатыми тряпками. Философ спрятал веер в карман и поднял вверх раскрытые ладони. Он улыбался. Кочевники кружили вокруг него, но почему-то не приближались. «I am your friend, – сказал философ. – Don't be afraid». «Are you a man? – спросил один из всадников с сильным акцентом, стараясь не смотреть в глаза странному черному человеку в высокой шляпе и словно бы черными крыльями за плечами, машущими в поднявшемся ветре. – Are you a devil? Are you a shaitan?»

Тот всадник, что снял винтовку, внезапно стремительно скатился с верблюда и бросился на философа. Боднул его в грудь головой, и оба повалились на песок. Еще один мамелюк подбежал к ним, ударил человека в плаще по спине прикладом винтовки, вдвоем они заломили ему руки за спину и связали.

Бум-бум, сказал барабан, а хор запел:

Ночью вы ложитесь спать в черной комнате на белые простыни,
которые тоже кажутся черными, потому что вы целый день
смотрели на солнце,
и оно стало черным.

Вы ложитесь на черные простыни, и в ваш позвоночник вливается
холод.

И вы думаете и размышляете, от чего идет этот холод, пронзающий
спину ледяной иглой, – от пистолета, гвоздя или пузырька с
кокаином. Но вам уже нельзя повернуться, потому что движения
кончились, иссякли, как рука дающего, как колодец на пустоши,
как содроганья любви.

И вы целый день едете по розовой пустыне на розовых двугорбых
ангелах

с зелеными крыльями, на пластмассовых зверях, пьющих
вазелин, – вы у себя дома.

Но вот встречает вас на дороге существо с черными крыльями,
сатана с черным нимбом,

и вы слышите, как в воздухе поет
скрипка смерти и сладострастия.

Дьявол не выдумка, шайтан не слово, и он ходит как черный лев
вокруг нас и рычит.

И рык его золотист и черен. И ползет он по пустыне, оставляя
следы – черные письма. Поэтому мы убьем льва-змея. Мы убьем
его в обличии девы в белом креплешине, и в обличии воина с
розовыми глазами.

Мы убьем его в обличии человека в черном нимбе и в обличии
зеленой волны. Мы убьем шайтана в обличии желтого ребенка
и розовой куклы. Мы сломим ему шею заклятием, стрелой и

пулей. Мы скормим его черным козлам с огненными рогами. И мы ввергнем его в дом его – ад.

Ибо мы воины, а не англичане. Ибо мы воины, а не дети. И мы убьем дьявола силой нашего белого духа, который вложен нам в спины.

Бам-бам-бам!

И они уточняют складки вашей одежды и хлопчут – ангелы-служители. И они припудривают щеки и завязывают, где надо, разошедшиеся шнурки и золотые тесемки.

Кочевники обыскали незнакомца, сперва принятого ими за Сатану, вывернули ему карманы, вынули, изучили и вновь вложили обратно записную книжку, кошелек, паспорт, веер с драконом и стали совещаться. Смолкли. Потом главный сказал короткое слово, которое просло у него изо рта, словно маленький карликовый дуб. Из угла губ от этого потекла кровь и тут же запеклась на подбородке. Один из кочевников подошел к Соловьеву, достал нож, полоснул по веревкам на руках. Потом плюнул ему под ноги и хохотнул. Рожа его была черна, а зубы блестели. Правый глаз был синь, другой же зиял как погреб. Кочевники взобрались на верблюдов и исчезли. Скрип и голоса растаяли в воздухе, тонко посвистывал ветер, солнце заходило.

Внутри шедших в пустыню верблюдов, как в варежках, были растопырены пальцы столь вялые, что лишь два из них, а то и только один выдавался наружу горбами сквозь стертую кожу хребта. Но так казалось на первый взгляд. Потому что не вялы внутриверблюжьи пальцы – но сжаты, как и сам верблюд, в динамитный кулак.

Пустыня. (Подруга)

Послушайте, погодим про экшен, а скажем про то, как прекрасна жизнь. Вышел на кухню Шарманщик, человек запутавшийся и по его собственным меркам неосновательный, вышел выпить кофе и там увидел, как распустились на подоконнике натыканные в глиняный желтый кувшин третьего дня веточки – сливы, орешника, ивы и тополя. И что бы им распускаться у него на подоконнике, а вот же... Сияют робкими листочками, светятся на фоне серого весеннего неба за окном, вылущиваются зелеными венерами из небытия, неоформленности, из вчерашнего «ничего никогда не получится», словно высывая на мерзкое уныние свои веселые изумрудные языки. А вчера их еще не было. И где они были вчера, кто скажет? В ветке? Но нет, там было что-то другое, а не зеленые листья. В соках, бегущих по веточкам, или в воде кувшина? Но и там их не было, потому что в соках и в воде кувшина, конечно, таилась возможность и условия им появиться на свет, но самих их там тоже не было. А может быть, они прежде были в голове Шарманщика, а потом взяли да и переселились на веточки, стоящие в воде? Как ни странно, но именно эта версия – самая близкая к правде. А сама правда заключается в том, что появились эти веточки точно из головы, но не только одного Шарманщика, но и Бога. И не только из их двух глупых голов появились они, но и выпорхнули из объятий смеющейся Софии Премудрости, той самой, которой на Руси строили самые первые, самые главные храмы.



Строили эти храмы давно, и до сих пор ходят в них молиться в Новгороде и в Киеве, а в Стамбуле тоже ходят, но уже не в христианский храм, а в переделанную под мечеть Святую Софию. Да, молятся в них до сих пор, но никто уж и не помнит, как следует, что это за название такое, София, и откуда оно взялось. Казалось бы, трудно забыть самую прекрасную, самую близкую деву на свете, любви которой ты принадлежишь, потому что ничего, кроме любви этой девы, тебе и не нужно, ан нет, случается. Случается, что забываешь ее щеки – розовые, глаза – синие, слова – колдовские, неизъяснимые. Забываешь, забываешь... И то, что плачешь от ее красоты, стоит только взглянуть, потому что на чудо такое смотреть без слез невозможно, и потому до сих пор еще живет и держится мир, на красоте и слезах от нее стоящий, и то что она всегда весела, и даже когда творила она мир, где все мы теперь живем, она веселилась и играла, – тоже забываешь. Вчера помнил, а сегодня взял и забыл. А только без этого – веточек зеленых, храмов да красоты несказанной, в душе твоей укрытой и спрятанной, – все равно тебе не прожить. Вот и не живет человек, а коптит небо да мучается. Вот едет он по Верхней Масловке на «Феррари», благоухая «Хьюго-Боссом», а с души-то его воротит, на душе-то его

гнилостно да погано от всего, что с ним в жизни случилось. Вот так и едет он с развороченной как стог душой своей по улице Верхняя Масловка, пока не увидит среди раскиданных во дворе дома художников мраморных глыб – с пяточок травы. И тогда вылезет он из машины, подойдет к этому пятаку изумрудному и желтому между необтесанного холодного камня, сядет на него в своем пьере-кардене да и расплатется. Сидит, носом хлюпает, к фляжке прикладывается, а на душе-то у него уже запевают ангелы. Уже светлеет лоб его, и руки перестают дрожать. Всего-то и увидел он тень от пятки Софии Премудрости, а сразу же полегчало человеку. Вот и сидит он там и радуется до самого вечера.

А теперь уж, наверное, понятно, с какой подругой шел на свидание в пустыню философ Владимир Соловьев. А не сходи он тогда на свиданье в пески, не подставься тогда кочевым чудакам на верблюдах, не задремли после этого от усталости и тоски на мертвом песке, совсем на Руси забыли бы про деву Софию.

Он лежал на холодном песке в своем длинном плаще, подогнув коленки к животу и пыта-ясь согреться. Наверху сияли огромные словно стога звезды. Он пытался заснуть, но у него не получалось. И тогда он достал из кармана веер, раскрыл его и положил на него голову, как на наволочку. Было слышно, как воют шакалы. Потом он заплакал от разочарования, одиночества и холода. Он лежал и плакал. Плечи его вздрагивали, острые лопатки тряслись, словно он ехал на телеге по ухабам, цилиндр откатился в сторону. В бороду набился песок, длинные ноги в носках торчали из задравшихся штанин. Он попытался вспомнить детство, университетскую церковь святой Татианы, беготню и забавы на прудах в Покровском-Стрешневе. Но все это было теперь далеко, и все это было лишним, чужим, неглавным. Главным было ощущение мерзнущего от песка тела, его уязвимости, нелепости, хрупкости. Он почувствовал, какие у него острые коленки, какие длинные и слабые руки, как ходит кадык под кожей и пересыхает от жажды язык. И непонятно было, для чего эти руки так длинны и нелепы и что ими делать сей-час в этой огромной пустыне под этим сияющим морозным небом, полным огней, – разве что сжимать и разжимать кулаки. Но от этого все становилось еще более нелепым и непонятным. Тысячи мерзлых песчинок двигались по ним, раздвигаясь и сходясь. И в теле его тысячи горячих клеточек делали какую-то живую и осмысленную работу, точно так же как что-то делалось там, наверху, между горящими в небе звездами. Клеточки эти подавали друг дружке сигналы, учили одна другую, как выжить на этом холодном песке, как согреть друг друга, как спасти это туловище, эти руки и эти длинные неуклюжие ноги. Он никогда раньше не замечал, какое у него смешное, лишнее тело, как оно ему не нужно, как некрасиво. Внезапно ему стало обидно, что он всю жизнь так и прожил в этом непослушном и некрасивом теле. И вот теперь оно лежит, распластавшись на песке, и ничего не значит. И он сейчас тоже ничего не значит, пока он и есть это тело, бледное, жалкое, беспомощное, грозящее вот-вот расслоиться и размельчиться на мириады звездочек-песчинок. Может быть, что-то и значило небо над его головой, или то, что от песка было холодно и жестко, или, к примеру, вся его до этого произошедшая жизнь, но тело его сейчас не значило ничего. Оно было мокро, холодно и бессмысленно. Оно не входило ни в песок, ни в небо, ни в него самого. И тем более было странно и обидно, что, кроме него, его тела, ему ничего и не осталось. Что сейчас надо было бы найти во всей его суставчатой огромности маленький уголок изнутри, где оно хоть что-то бы означало, хоть какой-то смысл. Но, сколько он ни бился, такого уголка не находилось. И он застонал сквозь сон и почувствовал, как от него метнулась прочь смутная тень, от которой сильно разило псиной. Шакал понял, что человек жив, отпрыгнул, изогнувшись и ощеряясь, пропал за холмом. Пустыня мерцала в звездном свете призрачным неровным огнем. Сухой куст, облитый этим светом, на миг показ-зался ему похожим на деревенского почтальона, но он тут же понял, что ошибся. Он снова закрыл глаза и забылся.



И тогда тихо-тихо застучали ангельские барабаны оркестра и заиграла флейта у правого заднего столба сцены.

Очами, полными лазурного огня...

Человек на земле оставался неподвижным все утро. Он лежал без движений в темноте под звездами. Он не переменял положения, когда выпал утренний иней. И даже тогда, когда, начиная с востока, звезды стали медленно меркнуть и заваливаться в пожар рассвета, он не шевельнулся. Он лежал на боку, подложив под голову руки, недалеко от валявшегося на земле зеленого веера и не двигался. Лишь у приоткрытых губ с сухой старческой морщинкой на верхней, скрытой усами, появлялись и исчезали бесшумные облачка пара. Вокруг, сколько хватало взгляда, разбегались волны и холмы песка. В розовых низких лучах они стали терять свой неверный звездный отблеск, выцветая и словно неуловимо подрагивая. Все больше они становились серо-белесыми и словно вымазанными малиновым желе. Было тихо в пустыне, и ни один звук не долетал сюда. И каждое малое движение было теперь подобно грохоту и любой шепот – обвалу водопада. Поэтому все остальное мог бы рассказать только хор, в котором герой умножился и усилился, пребывая по-прежнему спящим и даже на первый взгляд бездыханным. И именно хор поведал о том, что веер, лежащий на песке, теперь символизировал высшую степень просветленности и от этого подрагивал и потрескивал, пропуская сквозь себя все три мира. Именно хор сказал-спел, что лишь в низкой реальности можно было увидеть спящего и неподвижного человека на земле, а на самом деле было не так. На самом деле глаза человека были открыты и из них словно били невидимые, как горящий спирт на солнце, зрячие струи бесконечного зренья, обволакивая вселенную, галактики, звезды и землю с ее морями, хребтами гор, равнинами, пустынями и никому не видимым телом, лежащим на песке одной из них. Живая и умная пустота этого зренья и принадлежала простертому на песке человеку, и не принадлежала ему. Она и существовала, и не существовала, она исходила от человека и в то же самое время нисходила к нему как подарок. И исходила она не столько из глаз, сколько из переносицы и сердца.

Ничего не изменилось, кроме того, что могло изменить своим светом медленно встающее и набирающее силы солнце – в цвете, яркости, в объеме. Не изменились желтые барханы и не сдвинулась этим утром с места ни одна песчинка, не изменились морщинистые лапки ящериц и их обычные маршруты по холодному еще песку, не расцвела ни одна сухая ветка, и тот оркестр, что тихо сейчас ведет мелодию флейты и барабана, не изменился тоже. Да и как он мог измениться, если на самом деле и не понять, то ли есть он на самом деле здесь, в пустыне, то ли его и вовсе нет. То ли пустыня окружает его, то ли сама она вся вышла из этой музыки и движений актера и барабанщика, из этого веера и этого резкого удара босой ноги в настил сцены с подвешенным внизу на проволоке полым кувшином-резонатором, превращающим дрожь ресницы в удар грома. И тогда певец из хора пропел на языке, который еще не наступил на земле, несколько фраз, а потом пропел их еще раз, уже на русском:

И я уснул, когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными небесного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.
Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

Один лишь миг! Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась,
И не смолкал в ней благовестный звон.

Когда Она появилась, он не успел заплакать от радости и красоты, потому что плакал уже задолго до этого, всю оставшуюся в прошлом вечность, предшествующую этому мигу. Он жил лишь потому, что этот миг в пустыне в дальнейшем наступил и, наступив, разбежался, словно круг от брошенного камня во все стороны времени и пространства, в прошлое и будущее — в то время, когда он, молодой и еще неопытный лектор, читал лекции о Богочеловечестве, — и в то, когда тело его, ставшее наконец-то горсткой праха и пепла, легло на кладбище Новодевичьего монастыря под гранитный памятник в виде одноглавой церкви с куполом и крестом, впоследствии сбитым в атеистическую эпоху и так и не восстановленным, и с надписью на черном мраморе «Владимир Сергеевич Соловьев, публицист и философ. 1853–1900».



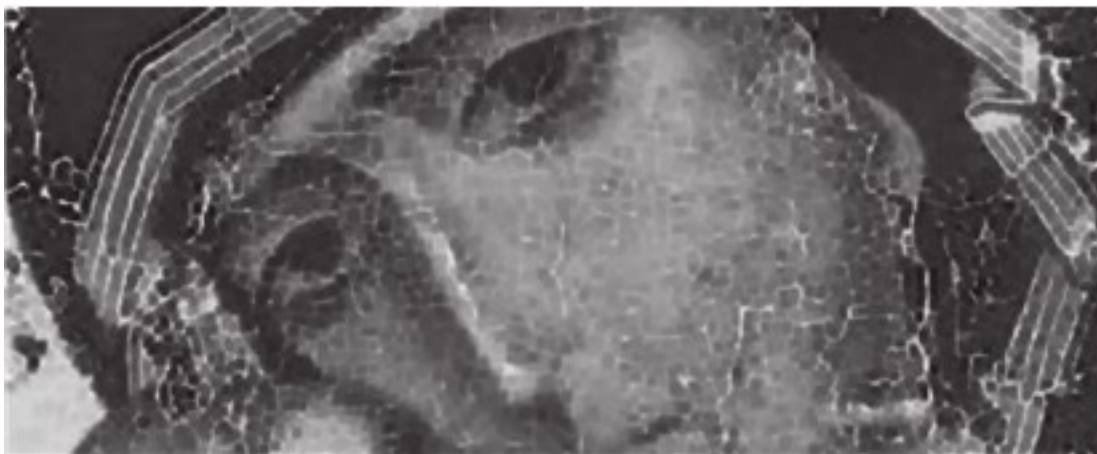
Когда такое случается между человеком и Софией, то о происшедшем более внятно может рассказать скорее мычание коровы или дебильное бормотание похмельного бомжа, чем наш с вами человеческий язык, и поэтому с хорошими и нормальными людьми таких дел почти что никогда и не происходит — кому ж охота встать рядом с бомжем или коровой, да и зачем, скажите на милость. Правда, в результате хорошие люди так и остаются вне рая и его дунове-

ний, но они туда и не очень-то устремляются, в эти дуновения, потому что, во-первых, некогда и еще потому, что не сильно в них верят, а зря. Зря, потому что верить в рай надо, хотя бы в силу того, что он существует. И скажем, коровы и бомжи, хоть и стенают и мучаются, но про него знают и в нем даже частично пребывают.

То, что в этот миг открылось русскому поэту и философу Владимиру Соловьеву, настолько превосходило откровения других провидцев, насколько превосходит по высоте полынь-звезда траву полынь. Насколько мужчина может превзойти женщину, а женщина и мужчину, и самое себя, и весь остальной мир. Насколько подорожник отличается от пули или человек в утробе от человека, вышедшего оттуда.



Скажу, продолжал хор, что ни одна из желанных и божественных, источающих нефритовый и опаловый эрос и секс и овечьих «Шанелью» и «Опиумом» – ни Мэрилин Монро, ни Бриджит, ни Сольвейг, ни Элина Быстрицкая, ни Милен Демонжо, Николь Кидман, Мадонна, Бритни Спирс и ни Леди Кокаин – и близко не могли бы самой явью явления своего навстречу вашей распахнувшей объятия любви поведать о том, что открылось философу. Та, которая пришла к нему на свидание в каирскую пустыню, была везде и нигде, была в нем и вне его, была блаженством и слезами, потому что мир состоял из того вещества, из которого состояла она сама.



Вы чувствуете это вещество.
И как только вы чувствуете его, вы начинаете смеяться и плакать.
Вы утром вынимаете его из-под ногтей серебристыми ножницами,
Оно раскидано по штольням и стволам голландского мира,
Продырявленного ангельскими мышами и тишиной.
Оно зажигает рубин тормозных огней и зелень первой кленовой
почки.
Оно разбросано словно замерзший хлороформ
В шестом аркане Таро, где двое влюбленных стоят,
Осененные крыльями ангела, погруженного в наркоз,
Потому что ему предстоит выкидыш – серебряная пудра
Холодящего бессмертия, эликсир, запечатывающий вход в
женский родник,
Оставляемый вами там, куда уткнется ваш взгляд, – на наперстке,
Сорочке в губной помаде, поэте на сцене, из которого
Леопард вынимает сердце когтями
И никак не вынет, потому что оно все состоит из этого вещества и
В нем, в этом сердце, происходит встреча его течения изнутри и
его течения снаружи,
Как в айкидо,
И кривятся платиновые когти – победителя не бывает.
И нет ему места в трех мирах – только небо вокруг,
Словно он сам – Кагэкиё или великий Лир.
И леопард состоит из желтого вазелина и рассыпанных шариков,
Искусственных волос и real dolly с вибрирующим родником и
гортанью,
Отлитой, точно для мужского члена,
Это она запускает краску ногтей в горло, обсыпанное серебристой
пылью и горчицей.
Но – приходит самурай и стоит насмерть за красоту мира, за его
кривые ножницы и
Народившуюся в молоке луну над рекой.
И в самурае вещества этого больше.
И больше его в юродивом и корове, говорящей «му»
Звук, который четвертый патриарх дзен продолжил до тех пор,
Пока не растворился в азоте мира, как растворяется под языком

Ментол таблетки.



Она обнимала ноги Распятого, и складки одежд ее натянулись.
В любых зеркалах они проступают с тех пор, если полить их
эфиром
– обозначение женственного поворота мира
Навстречу всему, что страшно.
И звезды-дети спят спокойно, и их эмбрионы меняются местами,
И говорят «му», или «ма», или что-нибудь студенистое –
Годунову, наверно, царю.
В живой пустоте вещества София стоит, пульсируя, как в стоп-
кадре летящая пуля,
И вы растворяетесь в пустоте и пуле, обнимая
Маму или подругу, потому что вы есть лишь тогда, когда вас нет.
Ледяной самолет жизни уже растворился в вашем зрачке
С красным языком, вмерзшим в протаявший борт
Словно петуший гребень.
И все это лишь слова, шмотки, лоскутья,
А София – это вы сами в саду невесомости, Парящие в
бессловесности листьев, птиц и серебряного родника
Между одним мизинцем на правой руке и на ней же – другим.



А последняя реплика певца на трех глухих ударах барабана-цудзуми заключалась в пояснении, что строка, звучащая на русском «глазами, полными лазурного огня», пропетая им чуть раньше, принадлежит с некоторым разночтением Михаилу Лермонтову, поэту, которого философ не любил, а любил он Софью – жену человека, чей отец Лермонтова убил на дуэли и оставил тело его на всю ночь под дождем на склоне Машука. Ангел с розовыми крыльями утверждает, что между этими телами – в каирской пустыне и на склоне горы над Пятигорском существует особенная тайная связь, как между луной и приливом, потому что тело на Машуке видело не меньше, чем тело в пустыне. Но об этом позже.

Незнакомец

Некоторые рассказы Арсения находила в совсем неожиданных местах – в куске замерзшего льда, или, наоборот, один раствор, запечатанный в банке, надо было вылить на дно тазика и выпарить, и тогда он уплотнился в подобие парафиновой дощечки с буквами, а вокруг выросли небольшими сталагмитами несколько полупрозрачных фигурок, в которых она с трудом узнала фею, льва и высокого человека в темном плаще и цилиндре. Некоторые были найдены довольно-таки банальным способом – под сиденьем дорожного велосипеда, стоящего в сарае, под опадающей алычой, в ухе карусельного льва во время ее посещения городского Луна-парка, в женском туалете за бачком или в коробочке, спрятанной за оградой могилки местного кладбища. Одно из сообщений проговорила кукла-дурочка, которую принесли Луке по почте, и главной особенностью экземпляра было то, что она до мельчайших особенностей повторяла набивший оскомину образ Мэрилин Монро, вместе с ее широкой белой юбкой, кружевным бельем, платочком в кармашке и сбритой растительностью в нежном паху. Скорее всего, тождество было абсолютно полным, но что-то остановило Арсению от изучения этого вопроса. Возможно она испугалась, что маленькая Мэрилин начнет не только говорить, но и дышать, и есть, и размножаться. Поэтому она только прослушала сообщение и, удовольствовавшись поверхностным осмотром, подарила куклу сопливному армянскому мальчишке, слюнявившему мягкое красное яблоко, вывалившееся в пыли.

Она зябкой кожей чувствовала рядом присутствие человека, который в рассказах, обращенных к ней, называл себя Шарманщиком. Скорее всего, у него было другое имя, потому что про Шарманщика Лука ничего не знал, и если сначала она и подозревала возможность дружеского, скажем, заговора между Лукой и Шарманщиком, то теперь была уверена в обратном. Вопросы, конечно, оставались, но она решила отныне действовать, доверяясь лишь своей интуиции, которая заставила ее как-то разломить яблоко, прежде чем откусить, и обнаружить там лезвие бритвы.

– Тебе сколько лет, Арсения? – спросил Лука.

Она сказала.

– Ты еще несовершеннолетняя, – констатировал милиционер. – А с виду не скажешь. Тот, кого ты ищешь, тебе кто?

Она сказала.

– Откуда знаешь? – спросил он. – Во сне видела?

Она сказала.

– Возьмите меня к бабочкам, – попросила она. – К королеве Мэб. Потому что это мы друг другу снимся, а бабочки видят нас наяву.



Лука помрачнел.

– Никому про это не говори, – посоветовал он. – Не поймут. – Он помолчал. – Сейчас автобус в город пойдет – съезди, проветрись.

В городе если выйдешь у сахарного моста, то тотчас уткнешься в бамбуковую рощу, в которой живут души блаженных и ангелы пляжей и выстрелов. Причем располагаются они в стволе бамбука по коленцам и в зависимости от толщины ствола. Ангелы выстрела находятся в среднего размера стволах на высоте примерно паха взрослой женщины. По ночам они тихо поют и светятся, а если заснуть тут же рядом на раскладушке, то ночью, при растущей в первой четверти луне, они выйдут, подойдут к спящей и расскажут, в честь какого выстрела они сформировались и уплотнились в ангелов. Причем из тонкого коленца может выйти как огромный ангел, достающий, скажем черепом до крыши второго этажа, так и крошечный, почти неразличимый глазом. У каждого из них есть своя история. Если выстрел был холостым, то ангел величиной не больше майского жука, и изо рта у него пахнет фиалками. Если стрелял в себя самоубийца, то ангел зеленого цвета и на крыльях у него глаза и растут языки. А на голове глаз нет, потому что она похожа на лимон, и пахнет от нее лимоном. Если выстрел был в беглеца, то ангел похож на черный колодец, откуда все время поддувает ветер и припахивает гнилью. А если выстрел был направлен в соперника, то ангел похож на деву невероятной, исключительной красоты, но с опухшими, как у царя Эдипа, пятками, а очень длинный красный язык идет не наружу, под небо, а вовнутрь и располагается внутри горла. Поэтому, когда она с тобой разговаривает, пока ты спишь, тебе кажется, что в твое горло вползает змея. А если с тобой разговаривает ангел холостого выстрела, то ты видишь будущее человека, которого никогда не знал, но скоро узнаешь – это и будет его будущее, причем недолгое, потому что сразу же после знакомства с тобой он заболеет непонятной болезнью и скоро умрет. Что ж, это судьба, которую он сам выбрал, раз уж ты появилась в его жизни. Потому что ничего не происходит просто так, без нашего выбора. Но все это не так интересно, как то, что в этой роще можно подвесить гамак и залечь туда на ночь с бутылкой портвейна «Партагос», завернувшись в белую простынку, и тогда лунные чары, постепенно накапливая плотность своего отражения от простынки, смогут принять любую форму, какую ты пожелаешь. Хочешь белого слона – примут. Хочешь лунную фею или Эдиту Пьеху – пожалуйста. И даже если ты захочешь единорога с девой, то они придут, отсвечивая в лунных лучах. Только тогда смотри, как бы тебе не исчезнуть совсем, как однажды исчез в стране фей дальний предок поэта Лермонтова Томас Лермонт, оставив по себе тьму историй. Причем исчезновение это будет похоже на то, как с полировки сходит теплый отпечаток ладони: сначала постепенно – за это время исчезает твоя биография и память о тебе у всех, кто тебя любил, – а потом сразу исчезают все те, кого любил ты, и ты оказываешься в том месте, которое никто не видит, как больше не видят выветрившегося со стекла отпечатка. Об этом Арсения узнала из записки, которую нашла в запечатанной пробкой бутылке, валявшейся на линии прибоя пляжа санатория Орджоникидзе, которой по виду было не меньше двадцати лет.

Сейчас она сидела в баре, одна, покрашенная и обрызганная Cherutti, голая ее коленка зияла из прорехи в джинсах, а косой взгляд был устремлен на столик, где в одиночестве расположился мулат в черной шелковой рубашке на голое тело, пьющий вино из широкого фужера с маслиной на дне. На столике перед ним лежала толстая коричневая рукавица с серой кудрявой выпушкой, и внутри ее мерцал непонятный зеленый свет.

Мулат, перехватив ее взгляд, подмигнул и, подняв бокал на уровень глаз, отсалютовал напитком с маслиной. Арсения отвернулась, но она уже узнала того, кто мог бы ей рассказать все, что она захочет, про бутылки с записками, ледяные буквы и рукописи в стволе. «Сейчас он подойдет, и история наконец прояснится», – подумала она, отпивая глоток черного кофе из фарфоровой чашечки с красным японским иероглифом.

Сакисё

В бар я пришла, потому что очень хотелось пить и еще потому, что я, наверное, слишком долго просидела среди стволов бамбука. Земля там теплая, солнце нагревает ее, и слышно, как стволы постукивают друг о друга, если их раскачать. Но звук не гулкий, а обыкновенный, словно столкнулись две деревяшки. Оттуда был виден двухэтажный дом и угольная куча в его дворе. Непонятно, они что, углем отапливаются, что ли, до сих пор? Я люблю такие дворы и такие рощи. Сидишь там и гладишь бамбук, а он словно полированный под рукой. Я откуда-то знаю несколько японских стихотворений, и одно мне очень нравится. В общем, они все мне нравятся, но это больше других:

Сотни распустившихся цветков,
Все они родом с одной ветки.
Смотри: все их цвета в моем саду.
Я распахнул скрипучие ворота
И на ветру увидел свет весеннего солнца.
Он уже достиг бесчисленных миров.

Наверное, скрипучие ворота этого монаха были не из бамбука, но мне почему-то хочется, чтобы они были из бамбука. Я, когда читаю вслух или про себя, тихо, вижу самое главное – как восходит солнце, но во дворе его еще нет, потому что оно низкое. А когда он открывает свои скрипучие ворота, они в тишине скрипят на весь свет, потому что еще раннее утро, горы и очень тихо вокруг. Так вот, они скрипят, и чистый солнечный свет, как это бывает ранним утром, когда еще хочется спать, врывается во двор, падает ему на лицо, и весь двор словно вспыхивает, словно загорается. И сам монах загорается, и хижина в глубине двора, и тропинка к ней, и несколько цветков перед домом. Все было обыкновенным, утренним, приглушенным еще, а тут заскрипели ворота, и все сразу вспыхнуло, и все сразу стало настоящим, ликующим. А вместе с солнцем ворвался ветер, и цветки покачнулись, и монах ощутил, как свежесть овеивает его щеки и забирается под куртку. А потом он чувствует, что такое не может происходить только здесь и с ним одним и что это происходит теперь во всем мире, а вернее, во всех мирах, куда только этот свет долетит. Говорят, что есть еще много духовных миров, и вот там он и будет стоять и стоит на ветру и в утреннем свете, потому что это событие на весь мир. Но оно не торжественное, не пафосное, а очень тихое. И поэтому все эти монахи, которые на самом деле один и тот же монах, они тихо так стоят во всех этих разных мирах, высвечивая их светом и продувая ветерком, но не делают из этого никакого события. Просто стоят себе, и все. А если во всех мирах, то значит, и сейчас со мной стоит такой монах и с ним можно даже пообщаться или поболтать. Ну очень бы хотелось с ним поболтать, поговорить про то, как это бывает, когда утренний свет падает тебе на глаза и вокруг. Он, наверное, не отказался бы поболтать со мной, потому что со мной многие хотят поболтать, это, наверное, потому, что я красивая. И еще папа говорит, что я хорошо воспитана, и что они не зря с матерью старались, и что, кажется, даже перестарались. Ну например, я никогда не курила коноплю и не пробовала наркотиков, что по нашим временам большая редкость. Я реже других девочек хожу на дискотеки, хотя одно время страшно увлекалась танцами. Мои подружки говорят мне, что я не так разговариваю, как надо. А как надо? «Короче» да «блин»? Как-то у меня не выходит. Я пробовала, но у меня все равно не получилось.

Я иногда думаю: а что если никакого Шарманщика нет на свете, а все это просто розыгрыш, как на чате, когда какой-нибудь старичок разыгрывает из себя невинную девушку или еще что-то в этом роде? Но ведь я слышала свой голос, записанный на диктофон, и я не помню,

когда это было и кто это записывал. Значит, какие-то вещи я не помню. В рассказах описано, как мы ездили с Шарманщиком в Сергиев Посад, но этого я тоже не помню. Причем сказано, что я была с подружкой. У меня их много, и не могу же я ходить и у каждой спрашивать: скажи, радость моя, а мы с тобой ездили в Сергиев Посад или не ездили? Он пишет, что я поцеловала его на вокзале в губы – вот ведь история. Ну и что, мало ли я целовалась. Непонятно, почему на него это произвело такое уж выдающееся впечатление. Он ведь, наверное, со своей Надей тоже целовался, и не только с ней.

Он, кажется, довольно-таки сентиментальный человек. И скорее всего, намного меня старше, и мне это не очень-то нравится. А может, он и не намного старше. Конечно, я же болела и многое забыла. Это, наверное, оттого, что я все еще расту, и довольно-таки быстро. Но если все это не так, и если все это розыгрыш, а Шарманщик – какой-нибудь старикан с бородой или вообще какая-нибудь розовая барышня, то что я здесь делаю? Ох, сама не знаю. Наверное, мне все же понравились его дурацкие рассказы. Особенно про философа Соловьева. Это странно. Потому что Соловьев не любил Японию, а я люблю. Соловьев говорил, что буддизм – это тупик и совсем не то, что нам, христианам, надо. Что буддизм пассивен. А я думаю, что буддизм совсем не пассивен. Достаточно посмотреть на их гимнастику или борьбу и почитать их стихи. А еще, по-моему, к тому времени не было напечатано ни одной грамотной книжки по буддизму. А может, ему в руки не попало. Стихи-то уж он, скорее всего, не читал. Вот это, например, про калитку и рассвет – вряд ли читал. Японию он не любил, но был, выражаясь книжно, кровно с ней связан. Она его прямо-таки преследовала, прямо-таки кружилась вокруг него со всех сторон. Я читала воспоминания его племянника, специально взяла у отца. Так вот, там сплошная Япония. Во-первых, муж его первой возлюбленной Софьи Хитрово Михаил, кажется, Александрович служил в русском дипломатическом консульстве в Японии, и у них дома была куча японских статуэток и вещей. Веера, игрушки, зонты, фейерверки... Ей же самой Соловьев пишет в письме, что видел сон, в котором наблюдал самого себя, стоящего на балконе какой-то захолустной гостиницы. И он тогда подумал: куда этот Я собирается? Ведь этот Я и есть я, настоящий, философ Владимир Соловьев. Я путешествую по Сибири (это ясно ему снилось, что он в Сибири). И совершенно понятно, что я еду сейчас в Японию. Непонятно только, почему так сильно дует ветер. Вот такой вот сон. И это еще не все. Да, дамы и господа, далеко не все. Клянусь мамой, как здесь, на юге, говорят. А все будет тогда, когда выяснится, что вторая его возлюбленная, и тоже Софья, что и понятно, по причине его неадекватной увлеченности этим именем, так вот эта самая Софья Михайловна Мартынова была ужасно похожа на японку. И Соловьев даже написал ей «японское» стихотворение. Первые буквы его стихов образуют прозвище, которое дали Софье Михайловне ее друзья – профессора да философы: Сафо. Это в честь греческой поэтессы и по созвучию имен, а не в знак какой-либо лесбийской розовости. Тогда это еще не было в моде. Вот лет через десять-пятнадцать – другое дело. Цветаева – Ахматова – Коллонтай – Глебова и много-много других, менее известных, но не менее пылких любовниц.



Слов неведомых шепот странный,
Аромат японских роз —
Фантастичный и туманный
Отголосок вещих грез.

Такие стихи. А в другом стихотворении он называл ее милой грезой счастливого японца, а про себя написал там же, что жизнь ему кажется рядом с С. М. японской сказкой. Жалко, что в книжке не было ее фотографии. Правда, интересно было бы взглянуть – похожа на японку или нет. Они тогда все были очень серьезные на фотографиях – ну хоть бы одна улыбнулась. У отца два пудовых фотографических альбома, которым по сто лет каждому, и там никто не улыбается. Лица тяжелые, каменные. Только у одной моей прапрапрабабки, снятой в гимназической форме, видно, что уголки губ едва заметно подрагивают, кажется, вот-вот не выдержит, зайдется от смеха и пойдет дальше бегать, играть в горелки со знакомым кадетом или, скажем там, в фанты. Но все равно на фотографии она очень серьезная и словно весит намного больше, чем сегодняшняя девочка ее возраста, хотя это не так, потому что видно, какая она хрупкая. Кадета-поклонника потом расстреляют большевики, а она выйдет замуж шестнадцати лет от роду за энкавэдэшника, который ее потом бросит, и она уже никогда не выйдет замуж второй раз, а будет нянчиться с малолетним внуком своей дочери. Фотография энкавэдэшника тоже сохранилась – лоб низкий, дегенеративный, нос широкий и лицо бледное и тоже широкое. Волосы торчат надо лбом – прямые, жидкие. Желваки так и играют, сразу видно. Так вот этого гориллу, который собственноручно приводил смертные приговоры в исполнение, красавица прабабка, девочка из хорошей старинной семьи, безумно любила и всю жизнь вспоминала, как они выезжали из города на мотоцикле, а потом она сидела в поле среди ржи и васильков и всходило солнце, а Василий Николаевич (имя гориллы) шел к ней по полю как ангел с огромным букетом ромашек. А в каждой ромашке, наверное, прятались души тех, кого он расстрелял накануне, или их родственников. Но прабабка об этом, конечно же, думать не думала, когда они там, в поле, целовались.

Я сижу здесь, в темном прохладном баре, обдумываю нашу семейную сагу (интересно, а может быть, мы каким-то боком действительно в родстве и с философом Соловьевым, во всяком случае отец заговаривал пару раз на эту тему, сейчас ведь модно составлять все эти генеалогические дворянские таблицы, хотя половина из них липовая, но отец в этом хорошо разбирается, тут он специалист высокого класса), и я уже выпила пепси-колу со льдом и перешла на кофе. Кондиционер гонит струю холодного воздуха прямо в прореху на моей коленке, а напротив сидит какой-то мулат или цыган в черной рубашке, а на столе перед ним – бокал мартини и меховая рукавица, в которой горит лампочка. Я давно к нему присматриваюсь, а он – ко мне. Но со стороны никто этого не заподозрил бы, клянусь. Я-то теперь присматриваюсь ко всем нестандартным мужчинам в надежде, что это, может быть, и есть тот, кто называет себя Шарманщиком, а он, наверное, присматривается ко мне, потому что я ему понравилась. Я всем мужчинам нравлюсь, и даже чересчур. Меня это утомляет. Я иногда специально сгибаюсь в три погибели, когда иду по улице, – так они думают, что я калека, и меньше пристают.

Цыган

Мы гуляли с ним полчаса по набережной вдоль моря, и он рассказывал о себе, и я решила, что нашла Шарманщика, но все же до конца не была уверена. А спрашивать прямо я не стала – зачем пугать человека раньше времени? Ох и красавец же он был – весь смуглый, высокий, в вельветовых брюках и похож на цыгана.

На набережной здания кафешек стояли бок о бок, из каждого гремел мертвый женский или мужской голос, все вместе было ужасно. Я вспомнила Шарманщика с его театром и ударила ногой в пол. Я ясно услышала, как под сценой отозвался и завибрировал низким эхом медный кувшин.

Я поняла, что теперь изображаю святыню, что я и есть святыня – икона среди пустого мира, а вернее, что я и есть этот пустой мир за каким-то небольшим вычетом упорядоченной материи, которая плавала в виде молодой девушки в рваных джинсах в этом эфемерном мире, таком красивом и хрупком. Я даже почувствовала, как от этой хрупкости и печали мне наворачиваются слезы на глаза, а потом вспомнила, что в театре Но нет женщин-актеров, а значит, теперь я мальчик или существо, которое соединило в себе два пола.

На языке жестов, пользуясь ладонью как веером, я спросила у цыгана, почему в его рукавице горит свет. Он же предпочел остаться среди зрителей и поэтому отвечал мне не жестами, а бытовым своим, не выхваченным из потока суетной и обманчивой жизни языком: «Это кокон». Тогда я спросила его, чуть изменив положение руки, откуда там свет. Он улыбнулся и сказал: «Это не моя рукавица. Когда я вошел, она лежала на столике. Я поэтому за него и сел. Внутри работает маленький фонарик. Наверное, он греет кокон или еще что-нибудь, не знаю».



Потом мы оказались в ночном клубе, в этой мертвенной синеватой подсветке, от которой зубы светятся по-разному, и видно, какие свои, а какие вставные, потому что от подсветки они становятся разного цвета. На сцене играл джазовый оркестр, и толпа мальчиков-девочек пыталась потанцевать под музыку, но у них ничего не получалось, потому что это не попса, а джаз. Еще я забыла сказать, что мне было страшно. Мне было страшно, когда он подошел ко мне в баре, и когда мы гуляли, и здесь, в клубе, мне тоже было страшно. Это я только с виду бесстрашная, а если вдуматься, то, наверное, нет такой вещи, которой я бы не боялась. Я боюсь машин, ножен без клинка, карт, купюр в пятьдесят долларов, голых женщин, но не всех, а незагорелых, стоять на краю платформы и состариться. Я боюсь, что не прочту самой главной книги, боюсь запаха шпал, очень боюсь смотреть на украинское сало. Еще я боюсь пластилина и отверстий для пальцев в ножницах. Поэтому я никогда не стригу ногти ножницами, а пользуюсь специальными серебряными щипчиками. Еще я боюсь манекенов и ампутированных пальцев, вернее, обрубков на руке. Я не боюсь смерти и ран. Я не боюсь голода и любви. Но я боюсь, что меня нет. Иногда я думаю, что мне нужно найти человека для того, чтобы перестать бояться и понять, что я на самом деле есть на свете. Потому что я почти уверена, что меня нет, и это самый большой мой страх. С ним может сравниться только еще тот, что меня и потом не будет. Никогда не будет. И вот тогда я думаю, что если найду Шарманщика, то, возможно, мы сумеем однажды так обняться, что после этого уже будем всегда. И станет совершенно ясно, что я есть, потому что есть он, и мы всегда были, как собаки, например, или камни, или ветер. А сейчас мы стоим в толпе, и я думаю, Шарманщик Цыган или не Шарманщик. Хорошо бы он был Шарманщиком, но он, кажется, слишком для этого красив. Вот если бы рукавица была его, то тогда он мог бы быть Шарманщиком, но рукавица-то не его. Хотя не случайно же он сел именно за столик с рукавицей, значит, она его заинтересовала. В общем, у него есть шансы.

Потом мы сели за освободившийся столик, и мне пришлось протискиваться в щель между стеной и его краем так, что я его чуть не опрокинула – такая была теснота. Я сказала Цыгану: расскажи про свою жену. А он сказал: «Мы не успели пожениться».

Тут к нам протиснулась официантка, высокая такая девица с наклеенной улыбкой и ногтями в серебряных звездочках, и Цыган заказал текилу. А мне он заказал мороженое и вино. Оркестр неожиданно заиграл Summer time, мою любимую. Я даже вздрогнула – сто лет ее не слышала. С того самого вечера в школе, когда мы с Настей вдруг поцеловались. Непонятно, что на нас тогда нашло. Но это было приятно.

– Мы не успели пожениться. Мы целый год встречались, а она только потом сказала: давай поженимся. Она была красивая, как ты, и у нас был отличный секс. Наверное, мы бы поженились, хотя мне было все равно. Как-то в таком же вот месте, как здесь, ей стало плохо. Она до этого все выходила в туалет, я думал, у нее что-то с животом, и только потом понял, что она там делала. В общем, у нее был передоз, а я думал, что она просто напилась. Я сам был пьяный и с трудом донес ее до джипа. Там я положил ее на заднее сиденье. Не сразу. Сначала я посадил ее лицом ко мне, спиной вовнутрь, и она откинулась на сиденье, как исчезла, и только ноги в туфлях торчали. Белые как молоко. Я их сгибал, чтобы закрыть дверцу, но они разгибались и вылезали по очереди наружу. Тогда я залез в салон с другой стороны и подтянул ее внутрь. Потом снова вышел и закрыл дверцу. Я повез ее к ее родителям. Они меня не любили, и я не хотел с ними встречаться. Лифт не работал, я понес ее на шестой этаж на себе. Потом узнал, что нес ее уже мертвую. Я посадил ее у дверей и нажал на кнопку звонка. Когда спускался вниз, оглянулся. Она сидела в одной туфле, вторую мы где-то потеряли. Лицо у нее было несчастное, обиженное. Я потом часто думал: кто это ее успел обидеть? Но теперь уже, ясно, не узнать. Такие дела.

Он помолчал и добавил:

– У меня был один приятель, который как-то привез свою девчонку к себе, еще ее и трахнул и только на середине понял, что она не дышит. Но он все равно в нее кончил, не смог остановиться.

– Зачем ты мне это рассказываешь?

– Ты же сама просила. Ладно. Теперь ты расскажи.

– Ты не Шарманщик.

– Нет, не шарманщик. И не вышибала, и даже, к слову, не матрос.

– Вот это ты правду говоришь.

– Любишь матросов, как все девочки?

– Люблю. Только девочки не матросов любят.

– А что любят девочки?

– Сам знаешь, что они любят. Чтобы ими восхищались. Потому что боятся, что вдруг у них ничего такого не окажется, чем можно было бы восхититься. И тогда все, конец песни.

– И ты боишься?

– Нет, я не боюсь. У меня песни из других слов. Не из вашего алфавита.

– Все так говорят. Держи рукавицу, дарю.

Я взяла рукавицу и засунула за пояс. Там внутри по-прежнему что-то светилося, и от этого моему животу стало тепло и уютно. Я хотела еще что-то сказать по поводу алфавита, но потом подумала: а зачем? Чтоб меня снова за дурочку приняли? Нет уж, хватит с меня откровенностей.

Я выпила еще, а потом мы поехали к нему в гостиницу, в номер, и там снова выпили. А из второй комнаты вышел его приятель, и они вдвоем стали меня раздевать. На мне и так-то было не много. И тут мне стало так страшно, что я почувствовала сплошной лед и ужас внутри и от этого слевитировала. Просто внезапно поднялась в воздух на метр и застыла. Сама не знаю, как это получилось. Я видела, что от меня идет холодный, как в ночном клубе, свет, и от этого в комнате стало светло и призрачно. Так я и стояла в воздухе, и меня такой колотил озноб, что зубы лязгали, а кожа и вставшие дыбом волосы светились как мел. Я это хорошо помню, потому что была напротив зеркала. Я, кажется, все время кричала, но голоса слышно не было. Я видела в зеркало полоску голубых трусиков над расстегнутыми джинсами и как из глаз как будто летит туча моли. Такое было с одной моей подружкой, когда ее чуть не изнасиловали в лесу, но я тогда ей не поверила.

Я опустилась на пол и увидела, что описалась. Я подняла с пола рукавицу с фонариком внутри, футболку, натянула на себя и заплакала. Те двое давно убежали, и я спустилась по лестнице в холл. Я все время плакала и не могла остановиться. На тех ребят я не сердилась. Они были ни при чем, хотя и скоты, конечно. Они, наверное, решили, что я колдунья или вампирша. Не удивлюсь, если они тоже намочили брюки.

На улице бил фонтан, и в нем плавали золотые рыбки. Я залезла в него, и мне стало теплее. Я чувствовала, как они тычутся мне в ноги, потом опустилась в воду с головой и стала с ними разговаривать. Одна подплыла совсем близко, куснула меня за мочку уха и тихо сказала: «Как никогда, как всегда». Кажется, это был слоган из рекламы сигарет «Мальборо». Хотя, какая разница. Правду о себе иногда можно услышать и от глупой рыбы, и с рекламного щита.

Цементный завод

Я шла мокрая по улице, и на меня оглядывались. Терпеть не могу, когда на меня оглядываются. Терпеть не могу всех этих загорелых болванов, которые думают, что вершина удачи – это коттедж на Рублевке или попасть на телевидение. С утра они все, как один, озабочены, как побриться так, чтобы щетина торчала ровно на три миллиметра, и еще какую бы девку им вечером трахнуть, и каким парфюмом от них пахнет, и куда припарковать на подъезде к ресторану свой танк, предназначенный для путешествий по пустыне Гоби, а не по курортному городку. Но им это все равно. Им вообще все все равно, кроме деньги-трахнуть-прокатимся-сделаю, босс. Я как-то давно даже дружила с двумя такими явлениями природы. Один начал разговор прямо на улице – подарил букет роз, и первой фразой его было «Я очень богатый». Я сказала, что я тоже, и пошла дальше. Но он не отстал, и мы с ним потом еще какое-то время встречались, но мне это скоро надоело. Бог ты мой, да он в конце концов предложение мне сделал, вот до чего дошло. Но я сказала, что я несовершеннолетняя. Вообще-то я не люблю говорить на эту тему, но надо же было как-то вежливо отказать. А потом он позвонил мне совершенно пьяный и лепетал запредельные слова. Мне его даже жалко стало. Я чуть было не предложила ему встретиться прямо сейчас, прямо на улице у моего дома, под дождем, но, слава Богу, удержалась. Вспомнила все наши разговоры до этого и удержалась.

Мне кажется, все они боятся. Они боятся однажды узнать, что все, что они делают, – деньги, дачи, карьеру, вклады в банки за границей, острова в океане и бизнес на Канарах – что все это гроша ломаного не стоит. Что самое главное не на той дороге находится. Поэтому они все такие заученные, такие напряженные, наши русские Пети и Вани, и все куда-то бодро бегут, и по телефону на бегу разговаривают, как Джоны и Майклы в Нью-Йорке. Знаете, чего они больше всего боятся? Что однажды, когда они бегут куда-то по своим делам, подойдет к ним их босс в черном костюме и цепью на бычьей шее, который их и посылает на их дела, и будет он при этом непривычно печальным, грустным таким будет, с прозорливым таким, ясным, усталым и умудренным взглядом. Остановит он их забег, возьмет за пуговицу, вздохнет печально и скажет: «Заканчивай, брат! Кончай на хер беготню. Все это отстой, поверь мне. Не то нам нужно от жизни, брат, не то. А нужно нам, брат, от жизни белой ромашки да ангельской песни, и больше ничего нам от нее не нужно». И тут у босса полезут черные крылья из-за спины, а морда станет грозной и честной-честной до невозможности. Такой станет честной, что никак нельзя будет ему не поверить. И вот этого-то шока никому из них не пережить. И когда они видят такое во сне, они кричат так, что весь дом просыпается, думая, что кого-то режут, вся гостиница. Я сама слышала.

Я была вся мокрая и решила, что теперь заболею и, может быть, даже умру. Я зашла в какую-то кафешку под пальмой с мигающей световой вывеской без одной буквы и выпила там чаю, стоя рядом со стойкой. Я вытащила из брюк сотовый. Он, как ни странно, работал. Я хотела кому-нибудь позвонить, но, когда на дисплее загорелся список имен, выяснилось, что звонить некому. Тогда я вспомнила, что я маленький остаток в мире вечности, и стала разглядывать пальму через окно.



Сломанная световая надпись над входом мигала и потрескивала, и верхушка лампы от этого словно тряслась в бледно-синем неживом свете. Было слышно, как где-то за черными кустами барбариса, в глухой тени, стучат бильярдные шары, а вообще было на удивление тихо. Я и не заметила, как забрела на какие-то окраины. Я положила рукавицу на стойку бара и стала смотреть, как она там, внутри, светится. Рукавица была сухой, потому что, когда я полезла в фонтан, я положила ее на бордюр. А странно, что я ее там не забыла. Наверное, не судьба. Вот будет потеха, если в ней действительно кто-то выведется. Бабочка какая-нибудь или, к примеру, змея. Так я и стояла напротив зеркала с бутылками и смотрела то в него, то на рукавицу. А за окном, отражаясь в этом же зеркале, вибрировала в свете пальма.

Потом я не помню, что делала и где была, а потом вышла к речке.

Набережная была пустой. Речка совсем обмелела – где-то посередине бежал небольшой ручеек по камням и даже не журчал, а только чуть отсвечивал под фонарем. Я пошла вверх по набережной в ту сторону, где темнели горы. Потом набережная кончилась, а я все шла и шла, сначала вдоль реки, а потом по ответвившейся от нее дороге, пока в конце концов она не уткнулась в какую-то гигантскую постройку.



В свете луны здание было похоже на корабль, с которого ушли пассажиры. Во дворе под лунной светились два заржавленных автомобильных кузова, пахло пылью и мочой. Наверху тянулись ряды темных окон, почти все стекла были выбиты. Я вошла внутрь, под ногой хрустнул щебень, и сразу отозвалось и заговорило эхо. Где-то наверху началась возня и хлопки – это я разбудила птиц, которые тут ночевали. Наверное, здесь еще есть и крысы, а может, и змеи. Уж ящериц-то точно нет.

Мне вдруг стало хорошо и спокойно. Я поняла, что пришла домой. Конечно, это смешно, когда тебя сначала почти изнасиловали, а потом ты ходишь неизвестно где, чтобы хоть как-то прийти в себя, забредаешь на окраину неизвестного тебе города, находишь среди ночи брошенный корпус какого-то, непонятно какого, завода, и вдруг думаешь, что тебе хорошо и что ты дома. Вчера бы я такого не поняла. Но если такое произошло, что ты чувствуешь про дом и про то, что тебе хорошо, значит, это просто произошло, вот и все. На третьем этаже я пошла по длинному коридору, заглядывая в приотворенные двери, и когда увидела, как в одной из комнат сквозь окно блестит речка, вошла.

Я открыла окно и села на пыльный подоконник. В комнате валялся стул и стояла допотопная железная кровать с металлической сеткой. Речка была недалеко, ее можно было даже разглядеть, а лягушки квакали так, что за километр было слышно. Я легла на подоконник во весь рост, повернула голову к речке и стала смотреть на нее и ждать. Потому что должно же в конце концов что-то произойти. Потом я, кажется, заснула. Сначала я лежала на подоконнике, освещенном у моей головы светом из рукавицы, которую я положила рядом, и разглядывала речку. Потом стала думать, что надо позвонить маме в Москву, они там, наверное, с ног сбились, меня разыскивая – ведь я уже сутки не отвечаю на вызовы. Потом я стала думать о Шарманнике. А что если его вообще не существует? Но такого не могло быть, потому что я чувствовала, что он где-то рядом. Интересно, как он выглядит. Мы с ним, скорее всего, были любовниками или что-то в этом роде. То есть в той жизни, которую мы с ним забыли. Он ведь тоже ее забыл. Интересно, почему это мы с ним решили взять и забыть наши жизни? Причем не просто забыть, а так, чтобы найти друг друга заново и в новой истории. Что нас не устраивало в старой? В смысле, настолько не устраивало, что надо было все переиграть заново, вместо того чтобы просто расстаться? Там, наверное, было какое-нибудь страшное событие, которое мы решили вычеркнуть. Мне даже одно время хотелось сходить к гипнотизеру, чтобы он

меня загипнотизировал, а я ему рассказала про все мое прошлое с Шарманщиком. Но потом я передумала. Не хочется, чтобы в душе копались всякие придурки. Я, вообще, от них порядком устала. Конечно, без них нельзя, но я устала. Меня от них тошнит. Просто наизнанку выворачивает. Вот Лука не придурок, Лука встречается с королевой Мэб. А Шарманщика он все равно не помнит. Потом я заснула.

Белые колокольчики

Ночью я проснулась, потому что мне показалось, что я что-то расслышала. Сначала я подумала, что слышу свой собственный голос во сне, словно я там громко говорила и потом от этого проснулась, но когда я села на подоконник и стала прислушиваться, я поняла, что проснулась не от того, что мне снилось, а совсем от другого. Я не знала, от чего именно, но чувствовала, что причина была. В комнате было темно, светились лунным блеском осколки битого стекла на полу и мерцал угол подоконника, где лежала рукавица. Я встала и прошлась, но на этот раз у меня ничего не хрустело под ногами, и вообще тишина была полная. Я обратила на это внимание не сразу, на тишину. Потому что со сна сразу не все замечаешь.

Тишина была такая, что я ничего не слышала. Ведь если, скажем, прижать пальцы к ушам, то все равно что-то можно услышать, какое-то гудение, внутренний шум, а тут я оказалось словно в вате. Я даже сначала решила, что оглохла. И мне стало страшно. Но потом я рассмеялась, потому что решила, что, может быть, я еще и не проснулась, а мне все это снится. Хотя, конечно, всегда чувствуешь, проснулся ты или нет. Когда просыпаешься по-настоящему, то на языке можно услышать ментоловый привкус лавровишни, а если тебе только кажется, что ты проснулся, а на самом деле ты спишь, то про язык ты не вспоминаешь вообще. Мне ни в одном сне не снился мой собственный язык, и никому другому он не снился.

Потому что есть вещи, которые не снятся. Их не много, но и не мало. Есть слова, которые не могут присниться, как бы вам этого ни хотелось. Словом, есть острова во сне, куда воды сновидения подняться не могут. Однажды я даже хотела написать письмо одному человеку, состоящее из слов, которые не снятся, но тогда у меня еще не было их словаря. Я начала составлять его позже, но так и не закончила. Например, вам никогда не сможете присниться вы сами, как вы есть на самом деле, потому что там, где вы есть на самом деле, нет сна. Вам по той же причине никогда не может присниться ангельский язык, но вы можете ясно услышать его перевод, сделанный вашим подсознанием. То же самое и с языком бабочек, деревьев или ящериц. Никогда и никому не снилось ушко иголки. Это я точно выяснила. Есть еще несколько вещей, которые, скорее всего, никому и никогда не снились. Дно океана. Луна. (И это очень странно.) Кукла. (Тоже странно.) Катюшка ниток. Император Монтесума. Бинобль Цейса. Никому не снились Антонен Арто, а также писатель Набоков. Отсюда я делаю вывод, что есть люди, которые не могут войти в сновидение, а есть и такие, которые не могут из него выйти и поэтому снятся постоянно. Но сейчас я думала не о снах, а просто вспомнила, что если я почувствовала вкус лавровишни на языке, то, значит, я проснулась на самом деле.

Я хлопнула в ладоши, но звука не было, как будто кто отключил громкость в телевизоре. Я проделала это еще раз, но с прежним эффектом. Впрочем, кое-что я все же слышала. Сначала мне казалось, что тишина была гладкой, как стекло без единой трещинки, но потом я стала различать словно бы ветер, который шуршит в кустарнике. Я обрадовалась и решила, что слух ко мне возвращается, но через минуту ветер в кустарнике пропал. Я стояла посреди комнаты в мутном лунном свете, идущем от окна, и прислушивалась. Я закрыла глаза и попыталась представить этот самый завод во всю длину, со всеми его десятками, а может быть, и сотнями пустых комнат. Как они все сейчас одновременно пустуют – каждая по отдельности и все вместе, и по этой стороне здания в них во всех стоит этот мутный лунный свет, похожий на стрекозиное крыло, – во всех вместе и в каждой в отдельности. Я увидела его лабиринт, как он пересекается и расширяется в тишине, переходя с этажа на этаж, от лестницы к лестнице. Я видела, как везде полы и подоконники покрыты пылью, как на некоторых полах валяются ватники, заляпанные несмываемой краской, плоские и холодные, видны окаменевшие окурки и старая обувь; как весь огромный дом застыл словно пароход в лунном свете.

Потом я слышала тоненький голосок. Он мог принадлежать девочке лет десяти, но дело было не в этом. И даже не в том, откуда она здесь могла взяться. Дело было в самой песенке. Она пела без слов, но в ее голосе звучала радость и одновременно грусть, восторг и отчаяние, тревожный вопрос и сладкое умиротворение, похожее на то, когда ребенок вот-вот заснет и устраивается поудобнее. Все это звучало в голосе одновременно. Там были и другие чувства и оттенки, например восхищение, как это бывает, когда любишь закатом солнца, или благоговение, когда встречаешься с огромной горой, увенчанной сияющей шапкой снега, и бескрайним небом над ней, и еще в голоске невидимой девочки слышался рев водопада и свист дракона, плач младенца и контральто певицы, стон мужчины во время оргазма и крик его подруги, шуршание листьев по осеннему парку и флейта музыканта. Теперь этот голосок уже нельзя было назвать тоненьким, хотя и так его тоже можно было назвать.

Я шла по коридору и заглядывала во все двери подряд, потому что я очень хотела найти ту, кто умеет так петь, если, конечно, это можно назвать пением, но ее нигде не было. Иногда мне казалось, что я ее вижу, и тогда белесая темнота в комнате, куда я заглядывала, начинала сгущаться, пульсировать, словно собираясь в кокон величиной с маленькую девочку, но потом к пению прибавлялся еще один звук, например удары скачущих копыт, и тогда кокон, брезжа золотистым светом, медленно таял. Но, прежде чем растаять, свет уже почти сгущался в фигурку девочки лет двенадцати, и можно было различить ее платице, и кудрявую головку, и даже полуоткрытый в пении рот, хотя было ясно, что поет она не ртом, а всем своим телом. Что звук исходит из каждой клеточки ее свечения – из волос, из плеч, платья, ног. Скорее можно было представить, что это звуки образуют фигуру, а не фигура излучает их. Словно бы эти звуки, придя неизвестно откуда, решили здесь встретиться. Но встретиться просто так никому не удастся.

Я имею в виду, чтобы произошла встреча, нужна ведь какая-то зацепка, ну например чтобы кто-то сказал: место встречи – метро «Маяковская», центр зала, или возле памятника Пушкину, или – мое тело. Место встречи – мое тело. Так говорят редко, хотя думают часто, но я все же такое слышала один раз, когда так сказали вслух. Я сама скажу вслух такое, чтобы меня слышал Шарманщик, если он так и не сумеет назначить мне место свидания. Я тогда скажу: вот я, вот наше место встречи. Я скажу, что этому меня научила светящаяся фигурка девочки, похожая на колокольчик или ангела. Потому что до того, как стать, она успела сказать своим собственным тихим голосом, который всегда есть у любого человека еще до его рождения: вот я. Встречайтесь. Все вещи и люди, которые хоть когда-нибудь были в мире, все животные и все голоса – видимые и невидимые. А поскольку она сказала это не какому-то определенному человеку и даже не нескольким людям, двоим или троим, а всему на свете, то все эти голоса и пришли на место встречи, которое она обозначила самой собой. Ей, наверное, было жутко и больно, пока они приходили поодиночке, потому что среди них были, конечно, и голоса демонов, и крики самоубийц, и погибающих женщин, и животных, но когда она выждала, вытерпела их приход, обливаясь слезами ужаса и сострадания, тогда они все соединились не в страшную и темную яму, полную отчаянных стонов и воплей, а в небеса ангелов и белых колокольчиков. А сама она стала как ангелы или белые колокольчики, о которых философ Владимир Соловьев писал в одном из последних своих стихотворений, что они пришли с неба, хотя и растут здесь, и никогда не уходят без того, чтобы не помочь.

И я стояла и смотрела на нее, как она собиралась из этих голосов в настоящую девочку, но каждый раз, уже почти что совсем собравшись и ожив, начинала расплываться снова, словно какого-то последнего звука ей все же не хватало для окончательной жизни.

Я видела, что она блаженна и полна радости, но никак не может при этом стать настоящей девочкой – из тех, которые рождаются, сосут материнскую грудь, потом ходят в садик, школу, потом влюбляются, потом делают первый аборт, выходят замуж, курят наркотики, потом идут в церковь и каются в наркотиках и абортах, рожают, седеют, сидят с внуками, болеют, делают

операции и умирают в отделении для неизлечимо больных, откуда никто не выходит. Наверное, она не могла быть совсем блаженной и при этом собраться в девочку, а могла только витать рядом с живой девочкой, накануне ее, потому что живая девочка, наверное, не выдержала бы того, что выдержала девочка-колокольчик. Наверное, живая девочка не смогла бы, во-первых, впустить в себя такую тишину, чтобы тихий голос, который есть у нее еще до рождения, могли слышать все вещи и голоса в мире – все животные, деревья, облака и рыбы, а ведь для того, чтобы они его слышали, в душе должна наступить такая тишина, что они не вытерпят себя отдельно от этой тишины и поэтому вдруг откликнутся и придут. А тишина для души бывает как смерть, и мало кто на нее может решиться из живых девочек. А во-вторых, ей, девочке-колокольчику, как будто не хватало одного голоса, единственного, того, что дополнил бы ее до нашей сумбурной и непонятной жизни, которая тем не менее настоящая и иногда даже, пускай редко, волшебная, – всего одного голоса недоставало, чтобы она примирилась с миром, где живем и умираем мы, и с тем, другим, недостающим голосом она бы могла войти в наш мир, а так, без него, она все время недоволялась и таяла.



И я подумала, что я могла бы быть этим голосом и что для этого мне надо сказать всего одно слово, все равно какое, и тогда эта девочка станет такой же, как я, теплой и всем видимой, и что от этого может измениться вся жизнь и в этом городе, и вообще во всех остальных городах, и везде. Люди перестанут убивать друг друга, соперничать и лгать. Дельфины вернутся в моря и океаны. Индейцы станут возрождать свою жизнь и заселять родной континент. И все, кто жил когда-то давно, а потом умер и был забыт всеми остальными людьми, обнаружат себя живущими на земле снова, причем не в боли, а в радости. И звезды снова превратятся в тех людей и животных, которыми они были когда-то. И я уже почти сказала это слово, и в этот миг внезапно даже поняла, как оно звучит и что оно значит, ощутила его шуршащий и ментоловый вкус на языке, словно глаз глубоководной рыбы или палец бога Марса, и его глубокую, белую, как ромашка у крыльца, тишину, но потом я подумала, что я делаю ошибку.

Зачем зазывать этот колокольчик в мир, куда она придет, а потом может пожалеть, а назад, скорее всего, пути не будет? Я подумала, зачем ей идти туда, где люди не понимают друг друга, каждый слышит только себя самого, где тебя то обманывают, то насилуют, а потом звонят и зовут замуж, причем те люди, которые тебе совсем не интересны, а тот, кого ты чувствуешь, что любишь, как я Шарманщика, пропал, и вместо него самого ты составляешь о нем историю из неоконченных рассказов, хотя однажды не выдержишь, разденешься догола, ляжешь ночью на пляже крестом и скажешь: место встречи – мое тело. Иди.

Рассказ постояльца Луки

А вернее, тетрадка, которую Лука подсунил однажды утром Арсении прямо под подушку, пока она еще спала и улыбалась во сне. Он стоял над ней, зачарованно глядя на эту улыбку, по которой как по радуге или мостку можно было пропутешествовать из этого мира в тот и в том тоже встретить ту же самую улыбающуюся во сне девушку, грезящую неизвестно о чем. Только здешний сновидческий правый уголок улыбки хотя и перетекал там в тот же рот, но перетекал через его левый уголок – мужской.

Постоял, посмотрел, подумал, зная, что и та девушка, у которой сердце справа, своим мостом-улыбкой связана со следующей Арсенией, хотя, возможно, ее будут звать немножко по-другому, скажем Аполлинарией, и у нее сердце будет снова слева, и на первый взгляд она будет больше походить на Арсению, чем вторая, но на самом деле нет ничего дальше отстоящего друг от друга, чем первая и третья Арсении. Можно сказать, что так играют сны, но если бы Лука так сказал, то только для простоты, потому что это были не сны, а варианты судьбы, которые существуют все сразу в некотором сложном веере, вложенном в каждого человека между ребрами, но его почти никто не замечает. И если веер, вложенный между левыми ребрами, развернуть, как это бывает с колодой карт, то перед нами возникнут все возможные женские судьбы мира. Больше того. Они не просто возникнут как варианты, из которых один можно использовать, а от других, следовательно, отказаться, но как полноценные и все время строящие себя жизни, перетекающие одна в другую и вечно возвращающиеся к своему собственному началу. Некоторые из них в траектории и пульсации своей перестанут на время быть женскими и войдут в плоть и кровь мужчины, для того чтобы и вести мужскую, активно созидющую, оплодотворяющую и нападающую жизнь. Но они вернутся туда, откуда начались, – в Арсению. Потому что начало жизни – имя. От него можно уходить сколько угодно, и во всех направлениях сразу, и даже обратно во времени за вымершей алой римской розой или китайским единорогом с ногами козы, но имя как магнит все равно притянет тебя к тебе, потому что больше тебя нет нигде, как только в имени. Потому что ежели ты – все эти женщины и мужчины, то как тогда определить, которая из них на свете ты? Но все они есть в имени, которое собирает их, содержит и объединяет своей невидимой глазом сетью, словно зашедшую в нее серебряную стаю рыб. Конечно, дорогая девочка, вот ты сейчас спишь, а когда проснешься, будешь воображать, что многих женщин зовут Арсения, а все это разные люди. Но это не так. Арсения, как и другое имя, как и Адам, называет не одного человека, но сразу всех людей на свете, как и любое другое настоящее имя, а то, что много разных женщин под одним именем и они никогда не встречаются, то это тоже неправда. Я бы и дальше рассказывал тебе, красавица, чудесную явь про этих женщин, которые – одна женщина, но просто расположенная на разных этажах имени Арсения, и про наш мир, который мы проспали, но думаю, что ты меня еще не сможешь понять. Сам я понял это не со слов и не из рассказа, а заглядывая в глаза своей ненаглядной, своей желанной Мэб. Скажу только, что имя Арсения может быть плотным – красным, или чувственным – зеленым, или голубым – возвышенным, ну и так далее, включая все переходные оттенки, весь их калейдоскоп. Но есть одно – белое – имя, и оно – общее для всех. Оно-то всех и содержит в свободе и самоопределении. Поэтому спи, красавица, а когда проснешься, прочитай эту тетрадку профессора из Чикаго, слависта Ильи, который гостил у меня как-то и забыл здесь эти записи. Как-то ты упомянула ученого по имени Соловьев, философа кажется, так вот там о нем написаны интересные вещи. Я часть не понял, потому что последнее время вообще не охотник до чтения, но другую часть я не стал читать, а просто увидел. Думаю, тебе понравится девочка. А пока спи, детка, а я пойду за молоком. Слышишь – колокольчики, это козы спускаются с луга.

И Лука не удержался и поцеловал спящую в темя.

И вот что было в тетрадке помимо другого прочего.

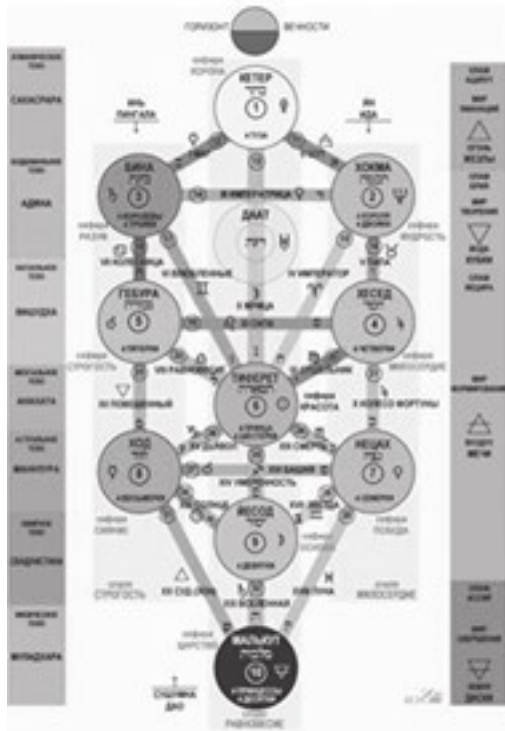
«В судьбе философа есть несколько загадочных моментов, – писал славист Илья. – Во-первых, его смех, во-вторых, его способность видеть умерших и разговаривать с ними, и в-третьих, его бродяжничество. Сами по себе эти моменты не так уж и загадочны, хотя и назвать их рядовыми качествами, свойственными обыкновенному человеку, язык не повернется. Но в сочетании с другими отметинами судьбы они образуют послание. Под другими я подразумеваю три фактора: голубей, бильярдный стол и любовную связь с госпожой Софьей Мартыновой, восходящую прихотливым следом к убийству Лермонтова отцом ее мужа на Машуке и дальше – к предку поэта Томасу Лермонту. Тому самому полуполюгендарному шотландскому барду, которому феи показали свою волшебную страну, куда он потом вернулся навсегда.

Не вдаваясь в тонкости, заметим, что в каббалистических книгах, которые Соловьев изучал в Британском музее, при этом восторженно отзываясь об одной из них, по свидетельству доцента И. Янжула, в том смысле, что в любой ее строке больше мудрости, чем во всех философских трактатах Европы, основополагающей мыслью является та, что Тора (Пятикнижие Моисеево, входящее в состав Библии) была создана Богом еще до сотворения мира. И что именно из ее букв сотворен мир. То есть каждая буква Торы имеет воплощение в земном мире, будучи соединенной с миром неземным – Небом, вместилищем Красоты и Любви Бога, или, как его еще называют, раем. Из этого для Соловьева, попросту говоря, следовало, что область Неба и область земли едины, что они как бы приколоты друг к другу святыми буквами. Что каждая Божья буква соединяет землю и Небо в каком-то одном аспекте, не давая этим областям уйти одна от другой, размежеваться и отделиться, но перемешивая землю с Небом до неразличения, где небесное, а где земное, и таким образом каждая из букв, проводя небесное в земное, осуществляет на земле Царство Божие, земной рай. Во всяком случае, так задумано Богом. Но история красноречиво свидетельствует об обратном процессе, о том, что Небо и земля, красота небесная и красота земная все больше и больше отдаляются друг от друга, как, скажем, сносившаяся подметка, которая начинает постепенно отдираться от ботинка с того края, где плохо вбит гвоздь. Совершенно ясно, что одна из букв-слов вселенского алфавита на сегодняшний день либо не закреплена как следует, либо утрачена. И вот тут-то начинается главное.

Философ Соловьев в один прекрасный день (или в ненастную ночь, неважно!) открыл следующее. Он понял, что утраченная буква космического алфавита не может существовать сама по себе, но по замыслу Творца (о котором здесь не место распространяться подробно) обречена время от времени воплощаться в какого-то одного из живущих на земле человека. И если человек умирает, то она незамедлительно желает обрести для себя новую плоть и перейти в душу и тело другого человека. Не находя такового, она может долго бродить по земле и присматриваться к людям самых разных времен и континентов, уподобляясь призрачному страннику, Агасферу, Вечному Жиду, Бутадеусу, наделенному бессмертием лишь для того, чтобы однажды он смог встретить Христа и стать с ним одним.

Тайная буква эта обладает бесконечной силой и мощью, какой обладает, скажем, замковый камень готического свода, – вынь его, и постройка рассыплется. Потому-то «вынутый камень», тайная буква, и не может покинуть мира, но кочует из одной души в другую, ибо, покинув мир, она обрекает его на более или менее быстрое разрушение. Но вернуть себе первоначальную райскую мощь, которая способна снова возратить Небо с его гармонией, бессмертием и радостью на землю, как это было в начале, она может лишь в том случае, если человек осознает ее в самом себе как свою миссию и часть собственного имени. Это первое. А второе – это условие, что человек, осознавший в себе присутствие чудесной буквы, встроится своей судьбой-буквой в остальное повествование мира, в остальные его слова не абы как, но сделает это в нужном месте и в нужное время, не нарушая, не насилуя и не перевирая своей судьбой и своим своеволием божественного повествования. (Не забудем при этом, что божье-

ственное повествование сильно отличается от людского. И что встроенность в первое зачастую совершенно противоречит факту и правилам встроенности во второе.)



Владимир Сергеевич Соловев рано ощутил свое великое предназначение – воплотить в себе букву космического алфавита, стать гвоздем, вновь соединившим оторвавшуюся подошву земли от Неба. И если сначала он лишь интуитивно чувствовал свое призвание, лишь, так сказать, нащупывал его предварительные контуры, то после трех свиданий с Софией Премудростью, просветившей и благословившей своего философа и возлюбленного, его миссия стала

для него несомненна. Ибо никакой мужчина не может почувствовать и сотворить свою судьбу без Софии-невесты.

Что же касается бильярда, то вот в чем тут дело. Философ, как мы знаем, поехал умирать в Узкое, имение, принадлежащее его другу графу Трубецкому. Там он и скончался. Позже в здании разместился санаторий Академии наук, и в комнате, где Владимир Соловев провел свои последние дни и умер, устроили бильярд. Стук шаров, запах дыма и реплики игроков до сих пор витают над тем местом, где более подобало бы царить благоговейной тишине или пению ангелов.

Заметим также, что к концу жизни Соловьев стал слепнуть. Это делает возможным уподобление его судьбы всем тем, кто, не довольствуясь грубым земным восприятием, избрал для себя зрение более тонкое – зрение духа. Среди них можно назвать таких знаменитых персонажей, как библейский Исаак, Гомер, Мильтон или Тиресий, а также Эдип или его двойник – герой одной пьесы театра Но, старый самурай, потерявший зрение, к которому в конце его жизни приходит дочь, вопрошая слепого воина о его судьбе. Ибо священная слепота начинается с иного видения, непохожего на обычное, людское».

Недостающий голос алфавита

«Он всегда чувствуется, – писал дальше в своей истрепанной тетрадке Илья-славист из Чикаго. Вернее, он чувствуется как отсутствие. Он, этот утраченный голос, должен быть найден, если мы хотим, чтобы симфония голосов и смыслов, букв и знаков замкнулась и на землю пришел рай. Но отыскать этот голос-голосок мне представляется невозможным, потому что, если с В. С. и буквой, которую он воплощает, в общих чертах все ясно (см. Павича, который писал о Мировом Алфавите в своем «Словаре», хотя и отождествлял его со снами, или Гессе с его «Игрой»), то с голосом ничего не ясно. Одним словом, эти таинственные буквы должны быть произнесены все, и для этого необходимо множество голосов. И в истории людей были моменты, когда казалось – вот-вот придет царство гармонии, но всегда не хватало одного голоска, одной нотки – всегда одного-единственного тоненького голосочка. Пустяка, можно сказать, но его не хватало всегда. Этот голосочек словно вынут из мира, и потому Лаплас напрасно пытался найти гармонию в устройстве космоса, счисляя угловые скорости планет для того, чтобы свести их последовательность к совершенству, или, как это пытались древние, – к божественной гармонии интервалов и звуков.

Почти все сошлось у Лапласа, но голоска не хватило, не хватило дыхания с картавой красной и гласной буковкой, пропетой над этими ходящими по небу живыми звездами для того, чтобы их орбиты и скорости выпрямились в один золотой закон, в гармоническую формулу и стали совершенными. Всегда и везде в мироздании и душе присутствует небольшая гнильца, занимающая как раз то самое неотъемлемое и неотменяемое место, где должен был бы прозвучать этот голосок».

«Так где же его искать? – восклицает наш славист, живущий в Чикаго, почти что в сердцах. – Не за бюстгальтером же девчонки и не во флаконе из-под “Булгари”! Не на небе же, где ангелы поют, скорее всего, согласно, и именно этого земного голоска им недостает. Не на дне, наконец, бутылки “Уайт хорс”! Не в своей же голове или душе, хотя как знать. Но нет, это должен быть неожиданный голосок и неожиданное место, где он находится. Скорее всего, прямо под носом, но мы, как всегда, его не замечаем...»

Далее славист возвращается к Владимиру Соловьеву и пишет: «Тот факт, что стоило лишь Владимиру Сергеевичу Соловьеву поселиться в гостинице, как через полчаса после его въезда карниз белел от десятков слетевшихся к окну голубей, а некоторые из них стучались в стекло, словно пытаясь влететь в комнату, хорошо известен. И что дети называли его Боженька, тоже. Меньше известно, что он всю жизнь не расставался с японским веером, который, скорее всего, приобрел в Лондоне. Еще реже говорят о том, что последняя его возлюбленная была не только хороша собой, но и напоминала лицом и движениями японку, что (учитывая “слепую” перекличку сюжета жизни философа с японской классической пьесой из репертуара театра Но) уже наводит на размышления о таинственных совпадениях, которые могут иметь место лишь в том случае, если их организовало тайное слово, буква, управлявшая его жизнью. Ведь все эти совпадения и странности можно рассматривать как иероглифическое письмо его жизни, которое осуществляет сочетания не только во временной последовательности, как это происходит в письме линейном, но еще и более сложным и одновременно простым способом. Потому что каждый иероглиф сцепляется не только с последующим, но и с параллельным, а тот осуществляет ту же операцию по отношению ко всем другим. Таким образом, жизнь, образуя иероглифическое поле, накапливая бесконечные смыслы и учитывая участие в этом поле голоса самого человека, способна осуществлять как бы смысловые электрические разряды вдоль этого поля, покрытого иероглифами “голубя” и “Японии”, “Софии” и “окна гостиницы” и так далее. Эти разряды, похожие на рисунок молнии в темном августовском небе, могут полосовать поле

жизни плеткой, образовывать изящный женский профиль или повторить очерк придорожного облетевшего куста, и все для того только, чтобы выявить и осуществить Букву.



Если открыть Апокалипсис – книгу Откровения святого Иоанна, то мы найдем в ней сведения об отождествлении Христа с Алфавитом. Я есмь альфа и омега, говорит грозный Христос Апокалипсиса, Первый и Последний. И повторяет четыре (!) раза эти слова в таинственной книге, повествующей о судьбах людских и о конце света. Уподобление Бога этим двум буквам звучит на фоне катаклизмов, катастроф, падения звезды Полынь и нисхождения Нового Иерусалима с неба на землю. Но если Христос называет себя первой буквой греческого алфавита и последней его буквой, то было бы смешно предположить, что остальные буквы при этом не учитываются. Конечно же, имеет место полное отождествление себя со всем алфавитом, из которого, заметим, не только собираются все на свете слова, но и сам свет (Вселенная), само Творение возникли благодаря довременному наличию этого Алфавита.

Но, спросим себя, неужели Иоанн (или другой еврей – автор Апокалипсиса, сочиненного на Патмосе примерно в 60-е годы н. э.) мыслил по-гречески и имел в виду греческий алфавит? Конечно же нет. Ибо есть один только алфавит, упоминание которого уместно в Откровении, – алфавит еврейский. А следовательно, речь пойдет о 22 буквах, первая из которых алеф,

а последняя тав. И если мы хотим хоть что-то понять о Главной Букве Соловьева, то нам надо иметь это в виду. И тогда я предлагаю вам проделать простую операцию, ту самую, что проделал я. Я выписал символику только одного алефа, применяя ее, так сказать, к жизни великого философа, причем исходя не из обыкновенного его, алефа, символического буквенного значения – “Бык”, “Плуг”, а следуя дальше, хотя уже ясно, что и жертвенный бык, и взрыхляющий для нового рождения землю плуг имеют непосредственное отношение к жизни Соловьева, отдавшего себя в жертву Христову труду в России (его последние в жизни слова “Тяжела ты, работа Господня...”) и взрыхлившего умственную почву России для нового Богословия. Но я, не ограничиваясь лишь прямыми буквенными соответствиями, отыскал также положение алефа на Древе Жизни, духовной карте иудейской каббалы, и, подставив на это место соответствующий аркан Таро “Дурак”, извлек на свет, благодаря этому простому действию, следующую символику алефа: веер (как магическое орудие японского происхождения, а также египетский веер, оживляющий мертвых), голубь, крокодил, двое обнявшихся голых детей, бабочка и Солнце.

Про веер я размышлял буквально накануне проделанной операции – тот самый, с рисунком красного дракона, купленный философом в Лондоне перед путешествием в Египет, про голубей на карнизе свидетельствуют все знавшие Соловьева, а что касается Солнца, то достаточно вспомнить знаменитое стихотворение философа, которое кончается следующими строками:

Смерть и Время царят на земле.
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце Любви.

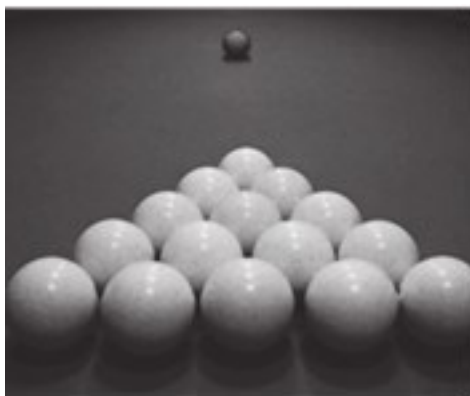
Крокодил же – огромной силы египетский символ творчества. В наследие В. С. оставил нам 22 (по числу, кстати, еврейских букв) тома несравненных сочинений, написанных неизвестно где и когда, потому что ни времени, ни места для создания такого колоссального труда у философа в реальной жизни не было.

И еще.

На Древе Жизни именно алеф с его голубями и веерами знаменует канал, соединяющий Божий Венец Кетер (Бога) с Премудростью Софией, возлюбленной философа, непорочной Девой, назначившей ему свидание недалеко от пирамид в пустыне под Каиром. И если буква философа – алеф, то неудивительно, что миссией этого выдающегося и таинственного человека стало соединение в своем теле и душе несказанного Бога и постижимой им Софии, давшей Владимиру Сергеевичу возможность лицезреть себя воочию несколько раз в жизни, в особенности же во время египетского его путешествия.

Число души его, родившегося 16 января 1853 года, если считать по новому стилю, дает двойку, что соответствует на Древе Жизни второй сфере Хокма – Премудрости Божией Софии.

Как говорится, *sapienti satis*.



И два слова в придачу. Фигура, с которой каждый раз начинается бильярдная игра в комнате, где летом 1900 года скончался выдающийся русский философ, называется «Пирамида», отсылая и читателя и комнату со всеми ее игроками и шарами к месту встречи Владимира Соловьева и Софии, расположенному неподалеку от усыпальниц фараонов. И ежели бильярдная пирамида, содержащая в себе, как в зерне, завязь всей дальнейшей игры, разбивается мгновенно, то пирамида Хеопса разрушается тысячелетиями, вовлекая в свой распад конструкции и сюжеты мирового значения, включая и выходящую за рамки земного повествования историю любви русского философа и Вечной Женственности».

Менины инфанты

В ту ночь на цементном заводе я поняла одну простую вещь, что мы рождаемся из звуков собственного голоса. Как только эти звуки и этот голос впервые прозвучат, так мы сразу и рождаемся. Эти звуки живут раньше нас, а вернее говоря, мы и есть эти звуки, еще до обыкновенного нашего рождения. Вот как, например, сейчас я закрываю глаза и слышу, как летит в темноте невидимый жук, и я понимаю, что он находится в середине своего медового гуденья, он в него словно одет. Потому что сначала было гуденье, а потом оно сгустилось в жука. И уже только тогда стало его коричневыми, как орех, доспехами, тонкими крылышками, месячными ночной воздух с медовым жужжаньем, и лапками, во время полета прижатыми к брюшку.

Когда я стала внимательно смотреть на ту девочку в лунном свете, я увидела, как она рождается, потому что это происходило у меня прямо на глазах. Когда звуки и голоса меняли тональность, загустевали, она начинала переливаться цветами и набирать плотность, сгущаться. Причем не было границы между голосами и этой маленькой девочкой – одно переходило в другое без пауз и зазора. Она стояла в воздухе как полупрозрачное веретено или сигара, и ее окружал лунный свет и всякие голоса, которые то сжимали ее, то разворачивали, и от этого я то видела ее лицо, то не видела, когда оно растворялось. И еще я поняла тогда, что кто-то из нас рождается из звуков собственного голоса, выходя из них на свет, словно разворачивая материнскую утробу, истекающую светом, а кто-то – из чужого. Потому что среди нас большинство еще не родились по-настоящему, из звуков своего собственного голоса, но они пока что поддерживают свою жизнь, рождаясь каждый день из звуков чужих голосов, которых они не понимают, но охотно их слушаются. Такие люди еще не стали собой. Их можно сравнить с куклами, которыми управляет механик, дергая их за ниточки, только здесь вместо ниточек – голоса и слова другого человека, не обязательно доброго.

Таких людей я называю нерожденными, хотя внешне они ничем не отличаются от рожденных. Они могут быть домохозяйками, секс-символами, президентами и даже философами, но они все равно при этом нерожденные. Из нерожденных состоят армии и правительства, большинство героев телевидения, шоу-бизнеса и кино. А поскольку они не рождены, они после смерти не могут дальше быть – просто рассыпаются в пудру. Они и при жизни пудра, мыльные пузыри, но склеенные голосами кукольников. Причем почти никто из них об этом не догадывается. Они любят своих мужчин, красят утром губы, сбрасывают волосы на теле, учат молодежь жить с экрана MTV, поют и прыгают, но на самом деле их фактически нет. Вот если бы эта лунная девочка воплотилась полностью, они бы все увидели, что им тоже надо срочно становиться настоящими людьми, потому что теперь у них была бы такая возможность – жить. А жить – это... это... когда тебе так хорошо, что и жук, и звезда, и даже все эти нерожденные – все это ты, и тебе от этого хочется запеть, или запрыгать, или угостить какую-нибудь бабушку в жуткой обвисшей шляпе с цветочками мороженым в кафе, или лучше шоколадом, потому что мороженого они боятся, они боятся простудиться. Они вообще всего боятся – и бабушки, и те, с MTV.

Вот, например, тот, кому тысяча девчонок из зала визжит до истерики, он пляшет на сцене и поет, а в глазах у него почти что ужас: а то ли я делаю? а не выгонят ли меня, чего доброго, прямо сейчас со сцены? И от этого лицо у него очень глупое, но из зала этого выражения почти не видно и на экране тоже, хотя на экране легче его различить. Но я знаю, о чем говорю.

Потому что они – все эти суперзвезды – часто приходят к нам домой, к отцу в гости, и болтают на разные темы. Ничего не видела гаже. Сначала это было даже интересно, все эти их разговоры про то, как их все обожают и какие их фанатки идиотки, и все их анекдоты, и кто какой заключил контракт, а потом меня стало просто тошнить от их глупости, выпендрежа и страха, того, что вдруг он или она сейчас сделают что-то не то и ему скажут правду, ну

например, что он (или она) – ничтожество. Они все очень боятся оказаться ничтожествами, хотя на самом деле знают, что так оно и есть, просто не верят, что им это когда-нибудь кто-то скажет всерьез, потому что это уже осталось в прошлом. Но бывает, что и говорят. Отец мой им, конечно, такого никогда не скажет, потому что это его работа, но их менеджеры бывает что стгорача и говорят.

Так вот всю ночь я ходила по заводу за той девочкой – я решила, что если уж она так и не родится до конца, то я хотя бы разгляжу ее получше. И вот наконец разглядела. Это было как вспышка, когда перегорает лампочка, – хлопок, свет и темнота, а предметы какое-то время стоят в глазах. И в тот момент, когда я увидела ее лицо при вспышке, я поняла, что она – это я. Я увидела свое собственное лицо. И мне сразу же стало ясно, что так и должно было быть с самого начала, потому что, может быть, в этот момент я с ее помощью в ней и родилась по-настоящему.

Вернее, если это и была я, то я родилась со своей собственной помощью, я сама себе стала как мама и богородица. Я родилась из звуков, в которые она (я) была до этого одета, потому что именно так все устроено. Это устроено, как... как... ну «Менины». Да, как картина Веласкеса. Такой испанский художник, кажется XVII века, не помню точно. На ней, на картине, изображена инфанта Маргарита в платье, похожем на перламутровую бабочку или белого конька, на котором она же и едет, и еще ее фрейлины, и карлица, и собака, и сам художник, который в это время стоит за мольбертом и вглядывается в вас.

И может показаться, что в этом и был его расчет, что он написал такую непривычную картину, стоя в которой он изображает на картине вас – зрителя. Ну оригинально, скажем, поменял порядок вещей: сам он, художник, – на холсте, а вы – натурщик, но не изображенный, а разглядываемый им с холста и при этом живой. Но это еще не все. Вся фишка в том, что он не вас разглядывает, а королевскую чету, которую он в это же самое время и изображает на своей повернутой к нему огромной картине. А понятным это становится, потому что они – король и королева – отражаются в зеркале за его спиной. Зеркало довольно-таки далеко, и не сразу видишь, что это – зеркало и что в нем изображение тех, кого он сейчас пишет, но постепенно об этом догадываешься, особенно если помотришь подольше. Поэтому там, где стоите вы, на самом деле стоят король и королева. То есть, с одной стороны, стоя перед картиной, вы автоматически превращаетесь в короля и королеву, в ту самую пару, которую разглядывает художник, а с другой – непонятно, видит ли он на самом деле только короля и королеву, а вас не замечает, или он и вас к тому же видит. А если он и вас видит, то тогда это место, где вы стоите, обладает магическим свойством содержать в себе массу вещей – вас, короля, королеву и взгляд самого художника, в вас троих уткнувшийся. Причем возникает еще один вопрос: если он пишет то место, где все вы собрались, то, значит, на картине, которую он пишет, должно быть и ваше изображение. И не только ваше, а любого, кто станет эту картину рассматривать, – всех зрителей, которые когда-либо на нее посмотрели хоть раз. Проще говоря, в возможности, – всех людей мира. Это место, которое он изображает – заключило в себе всех людей мира. Но, в отличие от короля и королевы, в зеркале их не видно, потому что их видит только сам художник, ну и еще те, кто изнутри картины посмотрит на картину внутри картины – ту, которая повернута изображением не к вам, а к художнику. То есть, я хочу сказать, что это не совсем физическое измерение – то место, где все мы с вами, зрителями, стоим. Хотя бы потому, что в этом месте может уместиться хоть миллион человек, хоть миллиард – это неважно, какое количество – можно приписывать нули до бесконечности. Я все это не из головы сочинила, а однажды просто увидела. Отец считает, что я вундеркинд и математический гений, но, честно говоря, у меня с математикой нелады, просто некоторые вещи надо увидеть, вот и все. Для этого не нужно быть гением.



Так вот той ночью на заводе все происходило примерно так, как на картине Веласкеса. Только вместо света работал звук – голоса, которые я слышала и из которых рождалась девочка-колокольчик, которая оказалась мной. Но, как и у Веласкеса, она оказалась не только мной, а любим, кто бы встал на мое место и посмотрел на нее. Любим – слушателем (вместо зрителя у Веласкеса). И если бы на мое место встал миллиард человек, то, во-первых, мы бы все уместились, потому что не обязательно туда вставать одновременно, можно и по очереди, и всем времени хватит, главное — то, что она всех нас видит одновременно – и тех, кто встал раньше, и тех, кто позже.

А во-вторых, весь этот миллиард увидел бы, что эта девочка и есть каждый из них, рожденный заново, теперь уже по-настоящему. И что теперь он может прожить свою собственную жизнь, а не чужую. И увидеть те деревья, звезды и людей, каких до этого никогда не видел, а теперь увидит, потому что он теперь – другой, истинный. Мне кто-то говорил, что в Библии много написано о втором рождении, но я сейчас не очень хорошо помню, где именно. Кажется, про это говорил Христос одному из главных фарисеев, когда тот пришел к нему ночью. Но это неважно, куда прийти – к Христу или девочке-колокольчику. Важно прийти в такое место, где тебе можно родиться снова. Может, и девочки-колокольчика там не будет. Может, там будет просто пляж или ветка с бабочкой. Главное, что ты пришла к себе. К той, которая тебя всегда ждет. Главное, что на тебя смотрят.

Под утро девочка свернулась, вошла в матку и заново изверглась из нее. Красную и скрюченную, ее прихватили щипцами и бросили в ведро, стоящее тут же, в операционной. Потом я заснула.

Меня разбудил звонок сотового, звонила Светка – моя московская подружка. «Мне сказали твои, что ты здесь, – щебетала она жизнерадостно, как будто было не шесть утра, а день в разгаре. – Я тебе позвонила в Москву, а они говорят, что ты уехала. А я спрашиваю, куда. А они говорят, в С. А., я говорю, вот это да! Я говорю, я сама в С. А., значит, говорю, сейчас я ей перезвоню. Слушай, они просили, чтобы ты им позвонила. Они сказали, обязательно. Они просили, чтобы я не забыла и передала, чтобы ты обязательно им позвонила. Ты здесь с кем? с мальчиком? Поехали сегодня на яхту, ладно? Там они все попадают, когда узнают, кто у тебя отец. Хорошие ребята – почти все из Москвы. Там еще этот будет, ну как его... Ну да ты знаешь. Прикольный мужик... У которого фанатка трусы украла. Он, кстати, мне говорил, что с твоим отцом мечтает познакомиться. Эй, ты меня слышишь? Ты что там делаешь, заснула?» «Ага, – говорю я, – сплю». «Просыпайся, – говорит Светка. – Так ты всю жизнь проспешь. Я тебя жду», – и она назвала какой-то ресторан, из тех, что работают круглые сутки. Сказала, что клевое место: «Приедешь?» «А как же, – говорю я, – ясно, приеду». Самое смешное, что я действительно слезла с подоконника и потащила в город. Оглянулась напоследок на подоконник, увидела рукавицу, которую ночью подложила под голову, – вот ведь, чуть не забыла! – заснула за пояс и пошла. Смешно, правда? Ни минуты покоя! Не жизнь, а сплошной праздник.

Светка

– Привет, Светка! – сказала я.

Светка была очень красивой, в школе считалась первой красавицей, а сейчас она еще загорела и светлые волосы выцвели. Она стояла на веранде ресторана в шортах – высокая, светлоглазая – и делала вид, что не замечает, как на нее заглядываются. А заглядывались сильно, некоторые машины даже притормаживали. Не все, но многие. В основном эти лакированные грузовики для шпаны – джипы. Вот бы никогда в такой не села, ни за что на свете! А Светка, наверное, могла бы. Я любила Светку за то, что она не усложняла. Она была легкой, отходчивой, смешливой. Я вправду ее любила.

Напротив нашей веранды на фоне моря торчали пальмы, а за ними – разноцветные флаги в честь парусной регаты, и было слышно, как они начинали вяло похлопывать, когда налетал ветер. Тихо играла музыка, и певица пела щедрым басом. Кажется, Анастасия. Так себе музыка, но не самое худшее.

– Что это у тебя? – спросила Светка, когда мы сели за столик.

– Это?

– Что за рукавица?

– А, рукавица. Так, подарили.

– Кто? Твой мальчик? Покажи.

Но я не стала показывать Светке рукавицу со светом внутри, а засунула ее за пояс своих драных джинсов.

– Не хочешь, не показывай, – согласилась Светка и кивнула головой. Она ела спайс-суши с лососем, а я заказала чашку кофе и рогалик. Было хорошо сидеть на веранде и чувствовать, как прохладный утренний бриз забирается в волосы и гладит щеки. Правда, на столе от него все разлеталось – пепел от Светкиной сигареты, салфетки и деньги, которые мы положили под блюдце, но так было только веселее.

– А меня чуть не изнасиловали.

Светка поперхнулась.

– Рассказывай, – сказала она мрачно.

– Да и рассказывать-то нечего. Пошла в гости, в гостиницу, а там они стали ко мне приставать. А потом я убежала.

– Суки! – сказала Светка. – Вот, блин, суки! Стрелять таких надо. Прямо при рождении. Как собак. Номер комнаты запомнила?

– Нет, не запомнила.

– Ну хоть этаж?

– Знаешь, Светка, я, по-моему, и гостиницу не запомнила. Помню, что там был фонтан. С рыбками.

– Ну да ты совсем сумасшедшая, – сказала Светка. – Таких, как ты, надо выгуливать на Елисейских Полях с гувернером. Пока безмятежность не выветрится.

– Сейчас нет гувернеров. И Полей тоже практически не осталось – муляж.

– Значит, тебя надо выгуливать с муляжом гувернера, – внезапно захихикала Светка. – С имитатором гувернера. – Тут она вдруг спохватилась и посмотрела на меня виновато.

– Ох, прости.

– Ничего, – сказала я. – Если ты думаешь, что я расстроилась или там какую-нибудь эмоциональную травму получила, то ничего такого не было. Я на них даже и не обиделась. Они же не виноваты, что я обозналась.

– Милые, бедные мальчики. Пойди к ним, попроси прощения. Сколько их было?

– Двое.

– А я бы все равно в милицию заявила.

– Не смей меня.

Светка задумалась, наморщив лоб и слепо тыкая сигарету в пепельницу.

– Ты сказала – обозналась? – наконец сообразила она.

Она всегда ловит. Бывает, не сразу, но в конце концов ловит. Это потому, что ей не все равно. Многим все равно, а ей нет. Правда-правда, ей действительно не все равно, изнасиловали тебя или нет. Некоторым тоже вроде не все равно, но им не все равно, потому что тут есть о чем поговорить и чего можно бояться самой, а Светке не все равно, что с тобой случилось, большая редкость в наше беспокойное время, хи-хи. – А ты кого-то искала?

– Ну...

– Кого?

– Я сама не очень понимаю.

– По интернету познакомились?

– Нет. Кажется, мы и раньше были знакомы, только я забыла...



Светка напряглась.

– Как это забыла? Как такое можно забыть?

– Ну...

Я не очень хорошо знала, что я ей сейчас скажу. Не рассказывать же ей, в конце концов, с самого начала всю эту запутанную историю, начиная с того, как я посмотрела спектакль про Казанову, а потом грохнулась на катке и как из бедной девичьей головки в результате падения вылетел целый блок памяти. В это время на улице хлопнула дверь автомобиля, и, пока я сообщала, что же такое наплести Светке, к нам подошел смуглый мужчина лет тридцати, одетый в светлые брюки и в голубую футболку «Дольче-Габбана».

– Доброе утро, девочки!

– Привет, Руслан, – сказала ему Светка, не отрывая от меня глаз. – Ты погоди немного, мы разговариваем. У нас важный разговор.

Руслан молча кивнул и направился к стойке. Там он сел и закурил сигару – я видела. Специально проследила, уж очень у него был чопорный вид – не кавказец, а прямо сэр Джон-Джон из Кембриджа.

– Ладно, не хочешь говорить сейчас, потом как-нибудь расскажешь, – после паузы сказала Светка. – Она, видимо, поняла, что из меня больше пока ничего не вытянешь. – Ну тогда давай поедem. Нас яхта, блин, ждет.

Мы расплатились, вышли на улицу, и Руслан повез нас к причалу. Смешно сказать – проехали мы всего метров пятьсот, но зато с каким комфортом! Вот ведь, только что зарекалась садиться в эти самые джипы, а села как миленькая, не дрогнула, даже с удовольствием села. Со мной всегда так. Стоит только кого-нибудь осудить, и сразу оказываюсь на его месте. Руслан мне понравился. Он был чеченец, хотя всю жизнь прожил сначала в Сибири, а потом в Москве. Даже окончил МГУ, юридический, естественно. Это мне Светка поведала. Понравился он мне, потому что молчал и еще потому что включил музыку с Фрэнком Синатрой – главным мафиози. Но пел он замечательно. *Strangers in the night* – мою любимую.

На причале я стала озиpаться в поисках судна. Я думала, что нас приглашают на настоящую яхту – с парусами, мачтами, веревочными лестницами, но ничего этого не было видно.

– Паруса? – Руслан внимательно смотрел на меня. Он, кажется, огорчился. – С парусами пока не выйдет, – медленно сказал он. – Может быть, завтра. Давайте, я вам позвоню завтра, и будут паруса.

Светка шепнула ему что-то на ухо. Он кивнул головой.

– Я большой поклонник вашего отца, – сказал он мне. – Сразу видно, что вы из хорошей семьи.

Фраза прозвучала высокопарно, и я еще подумала, что о семьях в привычном смысле в наше время можно говорить лишь с лицами кавказской национальности, а впрочем, и у них тоже непонятно, где кончается обычная семья и начинается «крестная». Ничего сейчас про это непонятно. Ни у нас, ни у них. Мне вообще в последнее время ни про что непонятно. Тебя зовут на яхту, ты думаешь, что будут паруса, а никаких парусов не оказывается, а стоит просто трехэтажный белый, как ментоловая жвачка, корабль со стеклами, пестрыми шезлонгами на палубе, тихой музыкой с мачты и загорелой компанией молодых людей. Я чуть не заплакала с досады.

– Глупая, – сказала Светка. – Все яхты теперь такие. Самый писк!

– Не все, – сказала я, – не все.

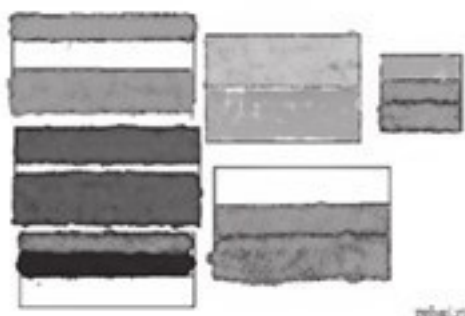
– Конечно не все, – поддержал меня Руслан. – Парусные тоже есть. Они не хуже. В общем, на любителя. Завтра.

Он вежливо взял меня под локоть, и мы пошли по узкому трапу на палубу. Трап пружинил и раскачивался, а вода под ногами была зеленая и переливалась как битые бутылки.

Глухонемой

Уже через полчаса. Я пожалела. О том, что приперлась сюда. Сначала все было еще куда ни шло, познакомились, повосхищались друг другом, загаром, яхтой, погодой, шмотками на. А потом пошли все те же разговоры, от которых я через пять минут чувствую ком в желудке, через пятнадцать – как он разрастается и добирается до горла, а через шестнадцать никакие правила приличия уже не могут помешать мне подняться и начать активные поиски дороги в туалет. И вот я сижу в этом самом туалете, слушаю музыку и думаю, как отсюда поскорее убраться. Дело в том, что яхта уже в море, и просто так на берег не спрыгнешь. А спрыгнуть хочется, потому что я не хочу больше про Lansome, и я не хочу про Cerryti, и меня мутит от Hugo-MaxMara-Ungaro, и про Alfa Spider мне тоже неинтересно. Вот что значит расслабиться – сразу же оказываешься среди зомби.

Зомби они и есть зомби, что с них взять. Только зачем мне было сюда ехать? Наверное, все-таки вчерашний вечер и ночь сильно на меня повлияли. Наверное, я наврала Светке, когда сказала, что у меня нет никакой эмоциональной травмы, наверное, она у меня есть. Когда я таких, как эти, послушаю, мне вообще начинает казаться, что слова надо запретить. Не то чтобы запретить, а взять и перестать их употреблять. Вот это было бы здорово. Потому что большинству из них все равно, про что говорить, вернее, им неважно, что это значит, а это как пароль-ответ. Я тебе: «Дукатти». А ты мне: «Харлей-Дэвидсон». А что «Дукатти» и что этот самый «Харлей» – неважно. Они весь вечер будут обсуждать, на чем лучше ездить, причем фанат «Харлея» будет словесно опускать фаната «Дукатти», а тот свысока объяснять, что «Харлей» – дешевка и для более крутых забав не годится, потому что в нем в три раза меньше мощности, и вообще.



Еще я вспомнила одного глухонемого мальчика, с которым одно время дружила, и подумала: как бы он описал вот этот день? Он, наверное, взял бы свою толстую тетрадку и написал что-нибудь такое: «Очень синее небо. Внизу ходят большие рыбы с плавниками, их не видно, потому что вода толстая. По палубе идут мурашки. Это работает мотор. Я очень люблю флаги и рыб. Мне нравится флаг над яхтой, мне нравятся рыбы в море. Я дружу с одной рыбой. Она на картинке. Она большая и серебристая. Глаза и рот. Еще у нее хвост как серп. Я никогда не буду их ловить. Я дружу с рыбой. Мы разговариваем. Потому что она понимает меня без слов. Меня многие понимают без слов. Яхта, небо, волны и водоросли – они меня понимают без слов. Нам хорошо, когда мы слышим друг друга и понимаем. Еще моя рыба умеет летать. Поэтому нам не нужны слова. Я не умею летать. Но я люблю смотреть, как летают другие – бабочки, рыбы, стрекозы и утки. Им не нужно что-то говорить. Они летят и так говорят. Утка не говорит, что она утка, она говорит хвостом и крыльями: вот я. Она говорит ух-л... Шу-шу. Неправды нет. Для уток и рыб нет неправды. Поэтому они такие красивые. Яхта плывет. Она плывет вдоль берега. Берег зеленый. На нем стоят белые санатории. Дальше видны горы. Они зеленые внизу и сине-сизые наверху».

Он ни за что, конечно, не стал бы писать, какие здесь собрались придурки и как ему тошно среди них. А может, ему и не было бы среди них тошно, потому что он и им бы, наверное, порадовался за компанию. Многие говорили, что он дурачок, но он не был дурачком. Он ходил в спецшколу – его возила мать на шикарном BMW, которого он, по-моему, даже не замечал. Он как-то написал мне, что ему нравятся колеса, потому что они толстые и быстрые. Так вот, он не только знал стереометрию лучше всех в школе, но еще и помнил наизусть все исторические документы – послания Папы Иннокентия или письма Грозного. Он также мог сходу расписать всю шахматную партию за звание чемпиона мира между Алехиным и Капабланкой, я это случайно выяснила, но он не понимал, что здесь особенного, и, кажется, считал, что любой на это способен. Способен вот так, запросто, взять и написать всю партию – ход за ходом.

Конечно, я так не могла. И как он писал-разговаривал, тоже бы не смогла. Но попробовать ведь можно. Я бы еще так написала: «Я сижу в туалете. Я тут уже сто лет сижу». Нет, не так... «Я сегодня плыву в море. Сегодня очень красивый день. Наверное, это лучший день в моей жизни. Я люблю Лао-цзы. Это китаец. Он говорил, что общаться с помощью слов не надо. Надо общаться с помощью узелков. Что селения должны быть маленькими. Что пусть они стоят близко. Чтобы крик петуха из одного селения могли услышать в другом. Я люблю деревья, несколько рассказов и стихотворений и одну сумасшедшую старуху. Она ходит в подвенечном платье и мужской шапке. Она ходит в подземном переходе. Она бранится, но никого не видит и не слышит. Она большая и угловатая. Подвенечное платье новое, ни пятнышка. Я пыталась с ней поговорить. Она остановилась и слушала. Потом схватила меня за плечо, сказала: фу – и стала плакать. Она плакала недолго, и ей было не больно. Потом вокруг собрались пьяные парни и стали что-то у нее спрашивать. От их пива воняло. Потом они ушли. Потом ушла она. А я ушла за ней. Я хотела узнать, где она живет. Но у меня не получилось. Потому что у ангелов нет дома на земле. У них дом на небе. Сумасшедшая старуха не была ангелом. Но ангел в ней жил. Это был его деревянный дом на земле. Он стирает ей подвенечное платье по ночам. Ему для этого корыта не нужно. «Индезита» не нужно. У ангелов свои секреты. Не такие, как у нас с вами. Они такие, как у ангелов и ангелов. Потому что у волков и волков одни секреты, а у белок и белок – другие. Еще есть секреты у снежинок и снежинок. Они их не рассказывают. Они бы и рассказали, но это не нужно. Потому что с секретами жизнь интересней. Хотя и опасней. Ведь если у льва не будет секретов от барашка, то он перестанет есть мясо. А пока есть, он его ест. А если у людей не будет секретов от ангелов, они тоже перестанут обманывать и убивать друг друга. Как Лев Толстой. Он похож на небо. На толстое облако в небе. Оно летит и ему хорошо. Потому что оно все знает и про Анну Каренину и про Наташу, и про Оленина, и знает лучше. Летит и молчит. Но его все понимают, кто знает хоть один секрет. Мне хорошо. Я вышла на палубу, и ветер ерошит мне волосы. Я вижу двух дельфинов справа. Они прыгают на фоне зеленого берега. Потому что когда они высоко подпрыгивают, то оказываются прямо рядом со мной. И тогда они оказываются на фоне зеленого берега. Не надо ни о чем говорить. Они улыбаются. Я знаю, что главное – это улыбка. Не слова. Потому что улыбка главнее. Еще я люблю глухонемого мальчика Никиту, как идет дождь в деревне или в парке и еще Шарманщика. Я влюблена в Шарманщика. Вот как это бывает. Я не знаю Шарманщика. У него, наверное, нет шарманки. Но у него есть я. Он пишет мне письма про Владимира Соловьева и пропавшую букву. Соловьев – это философ. Он хрупкий и сильный и прыгает, как кузнечик, когда хочешь накрыть его ладонью. Соловьева я тоже люблю, но Шарманщика больше. Мир большой. Но если мне кто-нибудь расскажет, как это делается, я из него обязательно сбегу. Мне все равно, куда. Но кое-что я прихвачу с собой. Самое главное. Не буду говорить что, но шарманка там тоже будет. В подарок».

Ци-лин

Ко мне подошла Светка и сказала: что случилось? Ничего не случилось. Я не хочу про Багамы и как отдыхают в Сардинии, про коллекцию Гальяно и ресторан Nobu.

– А ты не слушай, забей, пойдем, а то неудобно. Они там монетки в воду бросают, кто поймает. Они хорошие ребята, пойдем.

Нечего делать, я пошла со Светкой, не за борт же прыгать. Ребята, загорелые дочерна, столпились у борта, и один из них, наверное главный, заговорила, объяснял:

– Девочки, вот видите, это пятьдесят центов. Беру в руки. – Он взял монетку в правую руку с платиновым перстнем на безымянном пальце с ухоженным светлым ногтем и, зажав между указательным и средним, пизон, сразу видно, не пропускает ни одного голливудского фильма. – Подбрасываю! – кинул монетку вверх, так что она, взлетев, блеснула на солнце и на миг зависла над водой, а потом упала, с коротким шипящим звуком рассекла поверхность, и было видно, как она, блуждая из стороны в сторону и жарко отсверкивая на солнце, погружается в глубину. – И тот, кто ее поймает, выигрывает наш главный сегодняшний приз.

– Шикарная игра, – сказала девочка рядом со мной.

Я не поняла, что тут шикарного, но смолчала. Она была в зеленом купальнике, и капельки пота бисером высыпали у нее на верхней губе.

– А что за приз?

– Ага, что за приз? – подхватила вторая, у которой начали облезать плечи от солнца.

– Будете довольны, девочки! Самый модный в этом сезоне парфюм. Прямо из П-орижа. Руслана нигде не было видно.

Не знаю, зачем я его стала высматривать.

В крошечной каютке я переоделась в розовый купальник, который мне выдали, и, когда вышла на палубу, супербой с перстнем бросил монетку. Тут важно не пытаться поймать ее в воздухе – бесполезно. Главное, пока она летит вверх, тебе надо прыгнуть за борт вниз головой – и я прыгнула – перевернуться лицом к поверхности – перевернулась – и сквозь пузыри, образованные твоим падением, различить, как войдет монетка в воду. Это простой секрет. Когда монетка входит в воду, ее движение сразу замедляется, и она начинает рыскать из стороны в сторону, поблескивая в прозрачной воде. Вот тут-то и нужно подплыть к ней, не выныривая на поверхность, и просто подставить ладонь. Ничего сложного. Но это надо знать, а девицы на яхте не знали. А я знаю, потому что долго жила у моря и меня до сих пор иногда принимают на пляже за местную.



Я не думала, зачем я прыгнула, это была формула свободы: монетка в небо, ты – в воздух, за борт, а потом удар и блаженное скольжение в невесомости с переворотом глазами к небу.

Во всем, что вижу, во всех этих картинках – в этой и в тех, что были раньше, – есть секрет. Называется он «найди единорога». Есть такие задачки в детских книжках: нарисовано, например, пятнадцать-двадцать фигурок, холмы какие-нибудь, сосны, море, скажем, а между ними запряталось какое-нибудь диковинное или, наоборот, знакомое животное или человек, которого надо найти. Чаще всего он там прячется или вверх ногами, или где-то в ветвях дерева, или под животом оленя. Сразу разглядеть невозможно. Но я всегда радовалась – и когда искала, и когда находила. А когда находила, картинка становилась совсем другой, словно у нас с ней был теперь общий секрет, и если ее обитатели и продолжали прятать фигурку, то уже не от меня, потому что мы с ними теперь были заодно и как бы друзья, а от других, еще не посвященных в наш секрет. Так и с людьми бывает. Вот понравился тебе человек, и начинаешь искать в нем ци-лина, единорога, и сразу, конечно, найти не можешь, потому что на то он и ци-лин, что на него можно смотреть в упор и не узнать. Вот в этом-то у ци-лина-единорога вся и фишка – у других животных этого нет, и даже у людей нет, а вот у ци-лина есть: ты можешь разглядывать его нос к носу и не увидишь, а увидишь какую-нибудь корову или даже знакомого велосипедиста, а единорога не увидишь. Потому что никому не известно, каков собой единорог на самом деле. Его не с чем сравнить, понимаете? А если то, что не знаешь, не с чем сравнить, то, скорее всего, ты этого и не увидишь. Вот, например, «Рено» можно сравнить с «Майбахом», а «Труссарди» – с «Версаче», это понятно, что видишь и то и то, а вот «Фенди» с единорогом не сравнишь. С ним не сравнишь ни лошадь, ни самолет, ни ромашку. Вообще ничего. А знаете

почему? Потому что единорог есть то, что есть на самом деле. Он не поддается человеческому гипнозу. Ну я про то, что и автомобили, и драгоценности, и даже деревья и собаки гипнозу поддаются, потому что тот, кто на них смотрит, не их видит, а свои мысли, которые думает в это время. Думает, например, слово «падла», видя «Мерседес» новой модели, который приобрел его приятель, а не он, и тот начинает сверкать особо недостижимым для него блеском. Или видит свою подружку рядом с тем же условным приятелем, думает слово «стерва», и подружка, поддавшись гипнозу, становится не человеком со своими бедами и радостями, а ослепительной дрянью, пославшей его к черту. Все эти животные, люди и существа способны просвечивать через его мысли, искажаться, подделываться под то, что он думает. Одним словом, деформировать себя настоящего в угоду этим мыслям и переживаниям. Все. Кроме единорога.

Поэтому его никто и не видит. Поэтому, чтобы увидеть его – того, кто есть на самом деле, нужно сначала найти себя самого – того, кто ты есть на самом деле. Иначе ты его не увидишь – нечем. Я думаю, что можно сказать так: единорог живет в Стране Правды. И чтобы увидеть его, ты тоже должен зайти в эту страну, как когда-то это сделал предок Лермонтова шотландский поэт Томас Рифмач, иначе не увидишь. Поэтому считается, что единорог – мифическое животное, хотя есть свидетельства сотен людей, которые его видели. Увидеть единорога – к счастью, не то что доллар, певицу Мадонну или президента Америки или России, например.

Так вот. Встретишь иногда человека, который тебе нравится, и начинаешь искать единорога. И бывает, чем дольше ищешь, тем яснее становится, что нет там никакого единорога, что он сюда и не заглядывал, а поэтому никакой такой общей тайны с этим человеком у тебя не получится. И от этого бывает обидно.

В общем, дело в том, что во всех этих случаях, которые со мной произошли, во всех этих ситуациях и картинках, про которые я рассказываю, спрятан единорог, и пока я его не найду, все, что со мной происходит, лишено смысла. Не знаю, понятно ли я объясняю. Но только единорог – это ключ. Нашел ключ, и картинка стала тебе знакомой и дружеской. Она, как потайная дверь в библиотеке, словно поворачивается к тебе другой гранью, и тогда видишь все эти чудеса вроде девочки, поющей в лунном свете, или что в бамбуке у моста живут феи. В средние века их видели каждый день, и это была правда. Сейчас их никто не видит, и это тоже правда. Когда-то мы жили на плоской Земле, и это была правда из правд, а теперь мы живем на круглой, и это доказали наука, Галилей, Магеллан и космонавты. И это тоже правда. Потому что у каждого времени – своя единственная правда. И если сейчас, в эру процентов, виртуала, информации, глобализации и генной инженерии, кто-то начинает видеть единорогов, лунных девочек и поющих бамбук, значит, наступает новое время. Значит, наступает перелом хребта. Значит, одна эпоха кончается и за ней следует другая со своей новой правдой.

Но единорог, поскольку он не гипнотизируем, остается единорогом в любой эпохе. Это для того, чтобы можно было разгадать весь отстой и фуфло не только на любой картинке, но и в любой, даже самой замороченной и замаскированной, эпохе. А также, возможно, увидеть ее истинный смысл и подружиться с ней.

Так вот. Сейчас единорог стоит на корме. Он стоит там как луч света, как стеклянная пальма. Он стоит там как тишина. Как пуп земли и ось мира. Он есть, и его нет. В глазах у него блеск и соринка от древа Жизни. Он – дырка от бублика. Рядом с ним стоит девица с сожженными плечами и не видит его. Она видит быстрый секс в каюте. А он ее видит. И он любит всех – каждого из нас. И на его фоне яхта становится призрачной. Потому что он расширен как вселенная и даже больше.

Сейчас я вылезу на палубу с пойманной монеткой, послушаю его тишину, а потом возьму свои брюки, футболку, босоножки и снова прыгну за борт. Я прыгну за борт и поплыву подальше от этой тошнотворной яхты без парусов. К берегу. Он тут, рядом. Не так уж далеко мы от него отплыли.

Отсвет стеклянного дома

Прыгать за борт мне не пришлось, хотя я и собрала все свои манатки в узел и замотала мобильный с кошельком в целлофановый пакет. Руслан стоял рядом и наблюдал, как мое королевское величество собирается отчалить. И когда я подошла к борту, он взял меня за плечо: «Мне тоже здесь надоело, там есть лодка. Давайте-ка совершим вылазку на берег». Я даже расстроилась, так мне хотелось прыгнуть со всей одеждой за борт. То ли выпрыгнуть из мусорной корзины, то ли впрыгнуть в эту самую мусорную корзину. В том-то и беда, что никогда не понимаешь, что же именно ты делаешь. Иногда кажется, что ты выпрыгнула откуда-то, а на самом деле потом оказывается, что ты впрыгнула. Но прыгать, как я уже сказала, не пришлось.

Этот Руслан и в Сорбонне тоже учился, и изъяснялся очень неплохо и непросто, а меня это всегда отчего-то грело. В общем, он меня уговорил. Через двадцать минут мы были на берегу. Кажется, никто даже не обратил особого внимания на наш побег, потому что все уже курили коноплю и были сильно на взводе. Конечно, Светка расстроилась, что я уехала, да и мне ее бросать не хотелось, но я ничего не могла с собой поделать. Бывает, что «судьба стучится в дверь» – у меня нет-нет да и прорываются такие вот высокопарные выражения, но я себя за это не осуждаю – так вот, она стучится, и тогда все вокруг приобретает словно еще одно измерение. Как будто становится само на себя не похожим, как будто сдвигается на миллиметр со своей оси.



Однажды я гуляла по набережной в районе Дома музыки. Был май, цвела сирень, по Водоотводному каналу плыли утки, и солнце заходило за крыши трехэтажных домов на той стороне речки. Один дом был бледно-палевый, а второй серый, с колоннами, которые начинались почему-то только со второго этажа и шли под крышу. И тут я увидела, что это очень странные дома. Все остальное было знакомое, обычное, майское и московское – люди, во все лопатки спешащие по домам, пластиковые бутылки из-под пива, брошенные на площадке у воды, парочка, бредущая к ступенькам, обнявшись, а вот дома были будто не отсюда. Я сна-

чала не поняла, почему, и стала приглядываться, и тогда увидела, что они словно излучают лунный свет.

Они светились над речкой холодноватым колеблющимся, как мне казалось, светом, похожим на ртутный, и я никак не могла понять, откуда он тут взялся. Не от речки же он на них зеркалил. На них вообще не должно было быть никакого света, потому что солнце заходило – за них. Но он был, и они, эти дома, были с луны, окруженные домами с земли. Они словно продавили зеркало и вышли наружу в его отсветах.

Так я и стояла, ожидая, наверное, что они сейчас не только усилят свое магическое свечение, но еще и постепенно оторвутся от земли, поднимутся в воздух и полетят. Один из них подлетит ко мне и предложит перебраться внутрь, хотя вряд ли. Уж очень отрешенный, лунный был на них свет. Они сами были как сомнамбулы и меня просто не заметили бы. А внизу текла мутная цвета хаки вода, от которой ничем не пахло. Так я стояла и смотрела на них, наверное, полчаса, пока не догадалась обернуться. Так и есть. За моей спиной высился, просвечивая из-за зеленых веток липы, десятиэтажный дом с тонированными зеркальными стеклами, похожий на огромный сотовый. От него-то и отражалось заходящее солнце, отбрасывая лунный свет на ту сторону темневшей набережной, превращая ее в лунный пейзаж дополнительным светом. Все волшебное всегда просто. Был один художник – Магритт, он любил такие эффекты: дом стоит в ночи с зажженным напротив фонарем, хотя сверху дневное небо.

И вот когда мы с Русланом пошли по пляжу, а потом выбрались на набережную, а лодка с матросом, оставляя белый след, ушла к яхте, все вокруг тоже стало иным, подсвеченным. Как будто за спиной стоял ангел со стеклянными крыльями, и свет, отражаясь от него, освещал все, что мы видели впереди. Ничего особенного тут не было – городской пляж с сотней обугленных тел, белый купол парашюта с фигуркой пассажира, болтающегося высоко в синем небе, прицепившись к тросу с катера, музыка из ресторанчиков, потом белые ступеньки в окружении агав с пожелтевшими кончиками острых листьев, все эти лакированные тракторы и грузовики типа «Лендровер», припаркованные вплотную к набережной, потом театральная площадь, на которой происходят всякие кинофестивали, а потом мы взяли такси и поехали по адресу, который был упомянут в одном из листков Шарманщика.

И все это было в лунной и нелегальной подсветке. Руслан почему-то выполнял мои капризы беспрекословно и вел себя так, как у Диккенса ведут себя добрые джентльмены, появляющиеся по ходу истории неизвестно откуда и не разочаровывающие читателя до самого конца книжки – вот в этом-то и заключена их сила. Потому что в новых книгах если и появляется какой-нибудь симпатичный персонаж, то автор для так называемого правдоподобия – или чего там? – обязательно упомянет, что на самом деле он или бандит, или наркоман, или просто сукин сын. И тогда читатель якобы сразу верит автору. А вот у Диккенса добрый человек так и оказывается добрым человеком, веришь ты в это или нет, и по-моему, это самое замечательное, что может произойти в любой книжке, самое захватывающее. Он никого не собирает ни трахнуть, ни кинуть, ни пристрелить, ни облагодетельствовать. Он просто живет, оставаясь добрым и порядочным. Ну про Руслана-то я, скорее всего, преувеличила, потому что со временем еще выяснится, что он за человек такой на самом деле. А поскольку мне всегда везло на приключения, выяснится, наверное, что-нибудь не самое приятное. Ну например, что он любовник престарелой знаменитости вроде Пугачевой или Лили Брик или что его отец спонсировал бойню в Чечне, а сам он какой-нибудь маленький воришка, но в больших масштабах. Потому что маленький воришка в больших масштабах — это в России уже не воришка, а бизнесмен.

Но пока что это были мои предположения, которые он ничем не подтвердил. У него все время звонил сотовый, и он отвечал кратко и загадочно и часто по-чеченски, так что мне трудно было понять, кто он такой на самом деле. Мы въехали на самый верх асфальтовой

дороги, которая вилась рядом с белыми в листве санаторскими корпусами, оснащенными статуями нимф и колоннами, и остановились.

Я вышла из такси, вдыхая приятный запах раскаленного от мотора и солнца капота, как это бывает летом на юге, и уточнила адрес у какой-то женщины с белым платком на голове, незагорелой и толстой. Было слышно, как из оврага неистово и мерно стрекочут цикады, словно сошла с ума пружина напольных часов и все колесишки заверещали одновременно. Дом, который мы разыскивали, оказался рядом. Туда было трудно проехать, и мы отпустили машину.

Мы пошли пешком и вышли на полянку с двухэтажным деревянным домом справа и одноэтажным слева. Рядом с двухэтажным росли тополя и слива, дрожащие листьями на фоне открытых настежь и темных, как чернила, окон второго этажа, а рядом с дверью, на улице, торчала над зацементированной канавкой водопроводная колонка, а вернее, просто труба с краном на конце, из которого какой-то мальчишка набирал воду в розовое пластмассовое ведро, и гнутая труба тряслась от напора, и поэтому струя выходила дрожащей.

И тут я замерла, как цапля или японский журавль, которого я однажды видела в зоопарке, как он стоял весь в себе, не обращая внимания на распаренных посетителей с их малышками, обляпанными липким мороженым. Он стоял на одной ноге, нездешний, величественный, созерцающий драконов в небе и неподвижный как Джомолунгма. И конечно же, он видел то, что для простого смертного недоступно, и примерно то же самое, что видела сейчас я и что начинало просвечивать сквозь эту божественную картинку с тополями, двумя домиками и горой, поросшей грушами, за двухэтажным домом. Руслан тоже как-то притих, на меня глядя, а я так и порывалась встать на одну ногу и вобрать вторую, с расцарапанной коленкой, куда-то внутрь, под серые свои перья. И мне это удалось.

Кошка на заборе

Странно думать, что вообще что-то может существовать. Вот, например, смотришь на барак или кипарис и привычно считаешь, что они существуют. Но, во-первых, они даже настолько, насколько существуют, существуют все-таки для тебя, а каким образом они существуют для кого-то другого, тебе это, в общем, недоступно. А во-вторых, что это значит – существовать? Это что я, например, смотрю себе под ноги и вижу белый камень с серебряными отметинками, наполовину ушедший в землю, о который запинаясь ногой? То есть, когда я его вижу и запинаясь, то считается, что он существует, а если не вижу и не запинаясь, то он существует, но я об этом не знаю. А что я знаю о том, что он существует, когда я его вижу? И что я знаю о признаках его существования? Что он тяжелый, сбитый, с серебряными отметинками, шершавый, наверное, горячий, что он камень. Но не какой-то, а вот этот, под ногами. А над ним барак, который тоже существует. Так вот мне всегда было очень интересно, каков орган существования у предмета или человека. То есть какой именно орган отвечает за существование того или иного предмета или события. Наверное, есть же такой орган, который тому, что может быть не замечено как существующее, способен придать, и придает, качество существования. Как, например, если воздух выдыхать в резиновый шарик, то он со временем придаст резинке форму существования в качестве воздушного шарика. Или если скоростной катер тянет лыжника на доске, то такой серфинг существует благодаря катеру. Так вот что тянет, например, кузнечика или кипарис – какой катер, благодаря чьей скорости я могу сказать, что кипарис и кузнечик существуют?

Или неужели вы думаете, что все люди на земле, которых вы видите, действительно существуют? Или вот эта черная кошка с белой лапкой, которая сейчас балансирует на проволочном заборе, намереваясь спрыгнуть в чей-то огород с помидорами и виноградом, но еще не знает, в какое место приземлиться, и от этого смешно водит белой лапкой по воздуху, словно удерживая равновесие или читая лекцию с кафедры, – по какому признаку вы можете определить ее существование? А все эти миллионы прозрачных бактерий и животных, которые летают вокруг нас с вами, проникая насквозь, – есть они или их нет? Или их не было, а потом биологи их придумали, что они должны быть, вот они словно и появились. Ведь это всегда так было: сначала этого не было, потом люди придумывали, что это есть, ну например деньги, а дальше оказывалось, что они не только появлялись, но и что без них и жить невозможно. Или еще дикари на островах Полинезии. Сначала придумали, что они дикари, и стали их уничтожать, потом решили, что они тоже люди, и продолжили уничтожать так, что вроде бы и не уничтожают вовсе. Или вот что земля плоская, а потом круглая, а потом стало все равно.

Иногда мне кажется, что ничего не существует, чего бы какой-нибудь умник заранее не придумал. Недавно, например, я смотрела выступление по телевидению сторонников глобализации – исключительно ухоженные и отожравшиеся физиономии, и они уже все за всех решили, как им переделывать планету. А когда телеведущий Гордон, который мне нравится, потому что не просто образованный, а еще и печаль в глазах есть (а сейчас человек с печалью в глазах большая редкость, все либо остервенелые, либо озабоченные, либо – морда тяткой), так вот когда он их спросил: да что ж вы все планету-то переделываете, неужели не пора с себя самого начать наконец? – они этого даже и не услышали. Да им и не нужно – слышать. Они, блин, уже и так все знают. Вот смехота-то! А понять они не могут, амебы, что их на самом-то деле и нет, что даже не сами они так придумали, что говорить и куда ездить, а за них уже все придумано было, им оставалось только повестись, делая вид, что это они сами ВСЕ выбрали. Впрочем, ведутся почти все. Шарманщик вон не повелся, и что? Где он теперь есть? Кого он в чем убедил?

Мать меня часто бранит за такие разговоры. Она считает, что это ненормально. Она меня даже к психологу водила, хотя отец и возражал. Он говорит, что у меня просто ускоренное развитие некоторых аспектов личности, он так и сказал – аспектов, и что я, слава Богу, не вундеркинд, но у меня ускоренный рост в прямом смысле слова – быстро расту, и по этой же причине по некоторым другим показателям я на сегодняшний день – безнадежная тупица. Но он считает, что скоро все должно выровняться. Это его мнение, хоть, конечно, он мне его не сообщает. Но я знаю, что именно так он и думает. Пускай. Я к нему хорошо отношусь, хоть он и не запретил матери тащить меня к этому психологу. Это потому что, когда выпьет, он чувствует себя виноватым, а последнее время он пьет все чаще. Но он на меня ни разу в жизни голоса не повысил – случай в наше хлопотливое время небывалый.

Психолог спросила меня: а что же есть настоящего в вашей жизни? То, без чего вы бы себя чувствовали неуютно. Она, конечно, как-то не так спросила, потому что они так в лоб не спрашивают, а больше молчат и дают тебе возможность «выговориться», но смысл был именно такой. В общем, она спрашивает о главном на тот период, а я говорю: Лола. Она так осторожно спрашивает: а кто это Лола? Я говорю: черепаха. Домашняя черепаха? У нас нет черепахи, говорит мать. А я говорю: у вас нет, а у меня есть. И где она живет? Она в реке живет, недалеко от яузского моста. Ты хочешь сказать, что тебе хотелось бы такое иметь? Иметь такого друга? Хорошо. А почему ее зовут Лола? Так, говорю. Она смешная. Передние плавники короткие, а задние длинные. Но психологиня не пропустила мимо ушей имени черепахи. Я ясно увидела, как она просто-таки напряглась под своим халатом, как пантера перед прыжком. Смешно. По-моему, она решила, что все дело в Набокове с его навязшей в зубах историей про маленькую девочку, которая связалась с взрослым мужчиной, и как они там весь роман ездили из одного кемпинга в другой. Довольно скучная книга. Я больше Набокова вообще не читаю. Немудрено, что американцам нравится. Они в большинстве ребята простые. Наши-то, пожалуй, еще потупее, но иногда с фантазией, а те нет. Америка – лучшая в мире страна, вот и весь разговор.

Я вышла в коридор, а они с матерью еще о чем-то долго разговаривали. По-моему, они решили, что у меня сексуальные проблемы, связанные с быстрым ростом. Сейчас везде одни сексуальные проблемы. Спросишь какую-нибудь первоклашку, как дела, и выясняется, что она уже по уши в этих самых проблемах. Типа все, как у людей.

Я ее впервые увидела одним жарким июньским вечером, когда забралась почти что под мост, спасаясь от жары. Я села на набережную, прямо на камни, они были мокрые и прохладные, не то что там, наверху. Потом рискнула, сняла туфли и засунула ноги в воду, они у меня прямо горели. Вот тут-то она и подплыла. Я сначала решила, что обозналась. Черепахи, вроде, тропические все же животные, и водятся они в чистых водах, а не в таких, как наша бедная Яуза-помойка посреди Москвы. Из нее и рыбки-то, если положить их на сковородку, начинают вонять машинным маслом, мне приятель рассказывал. Но через минуту пришлось смириться с фактом – ко мне подплыла настоящая черепаха, причем довольно-таки живая и бодрая. Не похоже было, что она собирается заболеть или помереть от грязи. Тогда я поняла, что она каким-то образом от городской грязи заколдована. Что невероятно, но остается фактом – помойка ее не взяла. Она подплыла совсем близко и ткнулась жестким холодным носом мне в ногу. У меня в сумке лежал бутерброд с сервелатом, я достала колбасу и предложила ей. Она внимательно потыкалась носом в кружок и стала есть. Причем ела она очень деликатно, не так, как утки или воробьи, которые всегда устраивают драку вокруг любого куска. Лола ела не торопясь, с чувством неомраченного достоинства. Этим она меня и сразила, можно сказать, наповал. Как будто не на помойке находится, где ее могут переехать мотором, или выловить, или задушить мазутом с любого катера, а по меньшей мере на королевском приеме, где все уже в сборе и теперь только и остается, что наслаждаться жизнью, причем делать это красиво и никуда не спеша, потому что все остальное время – наше. Я такого больше никогда не видела. Вокруг плыл какой-то мусор, помоились утки, сверху трясся от машин мост, и время

от времени в воду летел окурок, а она была словно накрахмаленная и парила в своей собственной воспитанности и недосыгаемости, будто какой-нибудь ангел, которому земные законы не указ. Но с ангелом-то было бы все понятно – кто его поймает. А тут все дело было в том, что любой мальчишка мог ее вытащить и придушить, просто так, ни за чем, от избытка настроения, а она вела себя так, словно неуязвима и единственна, как какая-нибудь фаворитка Людовика-Солнце. Не знаю, что со мной произошло, только я с ней там два часа просидела. Мы с ней общались. И у нас получилось очень глубокое общение.

А на следующий день я пришла к мосту в то же самое время, и мы опять общались. И потом тоже. И она до сих пор там живет, и я захожу к ней пообщаться, и ничего ей за это время не сделалось. Но разве такое психологу расскажешь? Я вообще не рассказывала об этом никому на свете, даже Светке. А зачем? Вот В. С. Соловьеву я, наверное, рассказала бы. Он бы точно понял, если б был жив, и тоже пообщался бы с Лолой глубоко. Общался же он с собаками и голубями так, что те его потом годами не забывали. А остальные – что они могут, кроме как лопотать на телевидении о том, как они познакомились со своим мужем-продюсером и все покатило или еще что-нибудь в таком же роде. Куда им до Лолы! Вот кто существует на самом деле. В этом одном я и уверена. В Лоле. Что она – есть. Во всем остальном можно и усомниться.

Дед-свистун

Я замерла на одной ноге как японский журавль, разглядывая магическую картинку с двумя домиками. Вторую поджала под себя. День был солнечный, и я слышала, как всюду стрекочут цикады, а в тополях у двухэтажного дома насвистывает невидимая птица. И от этого мне стало так хорошо, что захотелось пропрыгать на одной ноге к этим переросшим дом тополям, в которых раздавалось смешное, то тонкое, то почти грудное и басовитое (ну конечно, по-птичьи), пение в ритме заржавленного вальса. Ветер шумел листьями, и они то закипали серебристой изнанкой, то затихали. Но пенье птицы не затихало, казалось, она собралась исполнить небольшой концерт и делала это медленно и старательно, а когда сбивалась, возвращалась к своему неудавшемуся коленцу и тщательно высвистывала его снова. Мне очень захотелось чихнуть, и от этого нос у меня стал вытягиваться, что было немудрено, раз уж я цапля. Он стал вытягиваться и вытягивался до тех пор, пока не уткнулся в фетровую шляпу, откуда и выудил листок бумаги, где не только уместилось описание расположения этих домов на местности с восходящей кипарисовой аллеей за двухэтажным домом, но и обозначились контуры ватной фигурки старика, который появился на дорожке, усеянной галькой и пылью и выпадающей в полянку, где и расположились, окаймляя ее с двух сторон как ладони, два деревянных дома.

Потому местность эта и показалась мне магической, что сначала нехотя и не очень точно, словно начерно, а потом все более филигранно и пригнанно совпала с описанием, найденным мной на одном из листков, которые были разбросаны повсюду в этом городе, тот ли для того, чтобы, перемешавшись с его аллеями, пляжами и грунтом, выпрямить ему спину и изменить осанку, то ли для того, что бы вставить мне на место тайный позвонок, распрямляющий цапельную мою осанку словно крону дерева. Этот рисунок я положила в шляпу, которую нашла у Луки, и время от времени его изучала.

Местность совпала сама с собой, но была кое-где проложена буквами и поэтому подрагивала и двоилась как вибрирующая струна. По направлению к фигурке старика проехал мальчик на велосипеде. На нем была майка с тонкими лямками на загорелых плечах, и было слышно, как вывертываются из-под велосипедных шин круглые голыши и замирают, стукнувшись друг о дружку, но уже в другом положении.

В самом центре полянки, как раз между домами, расположилось четырехугольное одноэтажное сооружение с белеными стенками, испещренными темными отметинами от выпавшей штукатурки, и одним окном, в котором с улицы можно было разглядеть среди сумрака тусклый огонек действующей керосинки со стоящей на ней цинковой кастрюлей. Не сразу было видно, что это именно керосинка, потому что колорит внутри окна был землист и коричневат с подогревом, как на картинах старых голландцев, а вернее, на некоторых их натюрмортах, нарочно затененных и погруженных в сумрачные и теплые древесные полутона. Но если на них, этих полотнах, рядом с вазой, полной почти неправдоподобно светлыми фруктами, время от времени тускло горела ручка оловянной или латунной, а то и серебряной вилки, то в странном домике на поляне горел за слюдяным окошечком керосинки лишь теплый и вытянувшийся вдоль фитиля огонек пламени. Над крышей сооружения высилась довольно-таки высокая цилиндрической формы труба без дыма, потому что было лето и жители домов готовили на керосинках. Но в самом домике явно никого не было. И на полянке тоже не было никого, вот только разве проехал мальчик на велосипеде в сторону приближающегося старика с седой бородой, красным морщинистым лицом, в картузе и с палкой в руке. Старик шел не оглядываясь, и в походке его было что-то странное, не сразу поддающееся взгляду и определению. В ней словно сочетались сразу два самостоятельных, но переплетающихся движения.

У людей обычно такого не бывает, но бывает у волн, особенно у морских. У них это случается во время наката и сильного ветра, существующих в одно и то же время, и тогда на большой

волне с ее неторопливым ритмом располагаются еще и маленькие рваные волночки, и поэтому в ней живут сразу два движения – неторопливо-размеренное, космическое, величественное, гомеровское, а также несерьезно-игривое, аристофановски развинченное и бестолковое. Но если у морских волн это сочетание остается в конце концов природным и естественным, то у старика в ватной одежде это было не так. Маленькие волночки, пробегающие по его телу, вызывали в наблюдателе ощущение неестественности и тайного коварства, словно ему пытались впарить не оговоренный велосипед «Турист» с тремя переключениями, а какой-нибудь тяжеленный, хоть, впрочем, и вполне ходкий, «Прогресс», на котором, конечно же, можно было доехать со свистом от одного санатория до другого, но уж никак не свезти на трассу юную блондинку с волосами платиново-синеватыми, развевающимися в ночном ветре от поднятой скорости при влете в ночную арку с чернильными тенями, играющими на ее стенах, и вылете из нее навстречу золотому фонарю. Казалось, что старик с белой проволочной бородой что-то затаил в уме нехорошее, что-то знает такое об окружающей его местности, чего не знает она сама, а мелкие волночки все пробегают по его одежде, рукам и ногам, все перебирают его очертания, словно он не старик с красным лицом, а тополь у дома в ветре, и от этого кажется, что он то ли немой, то ли глухой, или даже вообще не живой старик, а еще кто-то, потому что приходят же разные мысли людям в голову, когда они смотрят из окон. Но он не был ни глухим и ни немым, а все было как раз наоборот. Потому что в тот момент, когда он появлялся, на полянке раздавался сначала робкий одиночный свист, впрочем, тут же, словно преодолевая свое одиночество, набравший наглую и блатную силу и рассыпающийся трелью по окрестностям. И тут же, ему навстречу, возникал другой – это мальчишка в укороченных и размахившихся внизу брюках, заложив пальцы двух рук в рот так, что тот раздвигался словно резиновый, и выпятив зад, словно велогонщик, выбегал на поляну из деревянного подъезда с козырьком и заливался испепеляющим и серебряным свистом такой силы и чистоты, что закладывало в уши. Соловьи-разбойники всех размеров и мастей – от выгоревшего светлячка до армянского недоростка – возникали на полянке словно шампиньоны, проламывающие асфальт, и так же мощно и беспощадно, как пролом гриба навстречу ненужному ему солнцу, звучал их ртутный, прохватывающий уши и живот нездешней заморозкой знобкий свист.



От этого красное лицо старика мучительно искажалось, и было видно, что он пытается остановить начавшуюся с ним, запущенную чудовищным свистом метаморфозу и какое-то время ему кажется, что у него это получается. Но пока он справляется с конвульсивными гримасами на красном морщинистом лице, ноги его начинают двигаться быстрее, словно подтанцовывая, предательски подпрыгивают и, несмотря на то что лицо его наконец-то принимает совершенно спокойное выражение, шаги учащаются и незаметно переходят в сбивчивый и жалкий бег. Он спохватывается и пытается притормозить в отчаянной попытке вернуть себе утраченное достоинство, и это ему почти удается. Но переключение внимания на ноги возвращает лицу свободу страха, и от этого оно снова искажается и на миг становится почти схожим со страдающим ликом титана с Пергамского фриза, но тут же соскальзывает в бессмысленную маску страха и ненависти. И вот он уже бежит с перекошенным от страдания и ужаса лицом, затыкая уши руками и крутя направо и налево головой с прижатыми к ушам ладонями и выставленными по бокам локтями в продранном рукавах, и от этого становится похож на гадкую птицу с короткими неопытными крыльями у висков.

Вот так мы и утрачиваем соседство богов. Потому что теперь титанов одолевают не они, а дети людей, побывавших на последней великой и жалкой войне, и дети тех, кто сумел от нее спастись. А также их дети и дети их детей. Потому что их родителям открылось за эти годы что-то такое, что теперь, словно рана кентавра Хирона, не скоро закроется, но так и будет пачкать землю зловонными и ядовитыми выделениями, сочащимися из нее вместе с черной морской кровью. И кричащий что-то в воздух от тоски и ужаса старик так и будет пропадать за спуском с полянки, на узком мостике, с двух сторон обросшем ореховыми кустами, а дети тех, кто побывал на войне, и дети тех, кто счастливо от нее отделался, будут гнаться за ним, не приближаясь вплотную, но и не отставая, так и будут гнаться за ним в плотном и прозрачном как медуза облаке свербящего душу свиста, забавляясь, счастливо смеясь и выкрикивая время от времени свое бессмысленное, как заговор маленьких убийц, слово: «Дед-свистун!.. Дед-свистун!..», и дети их детей будут делать то же самое до тех пор, пока у рожденного великой Геей-Землей не пойдет черная кровь из ушей и он не рухнет во всем своем нечистом тряпье сразу за мостиком на вздрогнувшую землю, раскрыв черный беззубый рот. Но не умрет, а встанет и пойдет дальше, тяжело отдуваясь и постепенно нащупывая изначальный ритм, в котором поверх больших космических волн пробегают малые аристофановы – мелкие, злые и вздорные волночки.



И через неделю все повторится снова, потому что есть только одна дорога через полянку с голландским пламенем и высокой трубой, ведущая к магазину и прачечной, а ежели бы и была другая, в обход, то все равно дед-свистун не пошел бы по другой. Потому что боль притягивает боль, а сложенные многократно боли образуют судьбу, носящую в себе величие как плод, зачатый от Зевса. И все же это только слова с ущербом. Это слова с ущербом, потому что они слова. Потому что даже Зевс, названный словом, будет в конце концов облачен в тряпье и проволочную бороду и побежит от шайки маленьких убийц, чтобы в конце концов распасться на кирпичи и языки, как это случилось с Вавилонской башней, – распасться и погибнуть. Но настоящий Единый не позволяет облечь себя в слова, он насаждает вокруг мостика бамбук, и тот возносится над мелким ручьем, бегущим с верха горы, никого не называя и не клича. Обвитый вокруг собственной живой пустоты свидетель цикад и июньских светляков в овраге, прибежище мое, дудка Пана.

Три истории про зеркало Снежной королевы

Я простояла там на одной ноге довольно-таки долго, тыкаясь клювом во все эти завешанные мне другим человеком картинки. Потом я снова стала Арсенией, светской такой девочкой, которая никогда не забывает о своих товарищах, гостях и близких. Я отыскала взглядом Руслана. Он сидел на куче досок, сваленных на зеленой траве, и курил. Выглядел он вполне по-европейски, но, если приглядеться, все равно было видно, что он бандит. Наверное, поэтому он мне и нравился. Это потому, что у меня еще не сформировавшийся, инфантильный ум, как сказала моя психолог. А раз так, то мне обязательно будут нравиться люди с бандитскими замашками и бандитской внешностью. Но, по-моему, это чепуха. Мне как раз нравятся люди скромные и даже мешковатые. Мой любимый герой – Юрий Живаго в старости. Мне кажется, от него должны идти во все стороны лучи света. Только они не такие, как их изображают на картинах с ангелами и святыми, а зеленые. Зеленые и шепчущиеся как листья в ветре.

Я подошла к Руслану и протянула ему руку. Он взял ее в свою и легко вскочил на ноги. Вот уж не сказала бы, что сможет. Весил он, наверное, целый центнер. Думаю, при желании можно про него сказать, что и он когда-нибудь будет мешковатым, хотя вряд ли. Я показала ему карту, которую нашла на чердаке у Луки. Не карту даже, а план на смятом куске бумажки. Из-за него-то мы сюда и приехали на такси. Там было изображение того места, где мы стояли, и несколько стрелок, ведущих за дом и упирающихся в рисунок дерева. Крона дерева была раскрашена в зеленый цвет фломастером. Руслан глянул в бумажку, потом вокруг себя и пошел в сторону одноэтажного дома. Мы обогнули его справа и вышли к оврагу, усыпанному хвоей и заросшему соснами. Дальше мы пошли мимо высохшего цементного бассейна по тропинке, ведущей вниз. По стенке бассейна вились вьюнки, и на ее бетоне в пятне света сидела шоколадная бабочка, поводя крылышками. Было слышно, как вовсю распевает птица в кроне дерева. За бассейном было темно, сумрачно и прохладно. Солнечные лучи сюда иногда все же пробивались, и тогда на тропинке завязывалась небольшая солнечная путаница, лениво исчезающая через секунду без следа.

Руслан, взглянув на клочок бумаги с планом, свернул еще раз налево, и я за ним. Тропинка привела нас к огромному буку. Тонкая серая кора казалась теплой. Руслан ухватился за ветку над головой и подтянулся. Я видела коричневые подошвы его прадо-туфель, а потом и они исчезли в листве. Было тихо, и звенела с большими паузами только одна цикада, словно серебро от шоколадки под ударами ногтя. Через минуту он спрыгнул, и в руках у него была тетрадка, завернутая в полиэтиленовую пленку. Он протянул ее мне, сел на обросший мхом камень и стал затягивать развязавшийся шнурок. «В дупле лежала», – сказал он. Я села рядом и раскрыла записи.

Историй про волшебное зеркало Снежной королевы на самом деле три. Первая изложена Андерсеном в его «Снежной королеве» и повествует о том, как злой и могучий тролль соорудил такое зеркало, где все отражалось в искаженном и карикатурном виде. Самые чудесные пейзажи и лица выглядели в нем уродливыми. Первая красавица в мире могла заглянуть в него и увидеть там омерзительную ведьму с пучками волос, растущих из носа. Это так потешало друзей тролля, троллей поменьше, что однажды они решили взобраться на небо вместе с зеркалом и дать возможность ангелам и самому Творцу полюбоваться на себя в дьявольском стекле. И вот как-то раз они всей компанией отправились к Небесам. Но уже на середине их подъема с зеркалом стали происходить странные вещи – оно начало вибрировать в их руках все быстрее и быстрее, пока не разбилось на мелкие осколки и не полетело вниз. И тут случилось самое интересное. Поскольку некоторые осколки были размером с песчинку, они не просто упали на землю, а их стал носить ветер по всему свету. И когда такой летящий осколок ударял с разлета в человека, то впивался ему в глаз или в сердце. Сердце от этого становилось

ледяным, а глаза начинали видеть только уродливое, злое и отталкивающее. Такая стеклянная песчинка и попала в глаз герою «Снежной королевы», мальчику по имени Кай. Что из этого вышло, мы знаем.



Но мало кто знает, что, получив известие о зеркале троллей, эльфы сделали свое.

Они сделали его в противовес, из духа соперничества или в качестве своей собственной реплики в сторону зеркального сюжета – назовите как угодно, но скорее всего, они просто не могли его не сделать, потому что такое зеркало имело свойства, прямо противоположные зеркалу троллей: все то, что казалось людям уродливым, злым, недостоверным, пугающим, ненавистным, – все отвратительное, умирающее, безобразное претерпевало в эльфийском стекле удивительную метаморфозу. Лица, события и ландшафты, отраженные в нем, не испытывали какого-либо внешнего изменения – на первый взгляд они оставались теми же самими. Но к ним словно прикасалась невидимая волшебная палочка, и от этого они начинали светиться изнутри, не меняя при этом ни имен, ни очертаний, ни своего расположения. Но в то же самое время они полностью меняли свой смысл, и каждый, кто глядел на мир, отраженный в зеркале эльфов, чувствовал невероятную свободу и изумление. Свобода приходила от того, что созерцатель понимал: все, что он видит, бессмертно и прекрасно. Что никогда в жизни он не видел более родных и захватывающих воображение вещей. Что уродливый сучок, что нарыв на шее нищенки, грязная, полная зловонных стоков канава, или труп раздавленной кошки, или пьяница, выдавливающий глаз жене во время семейной ссоры, или, наконец, бомж, окоченевший на горе вшам в собственной блевотине, – что это не просто вещи. Что это – нетленное сияние. Что это и есть он сам, протекающий в эти вещи как ветер в листву и наконец-то возвращенный себе самому, причастившемуся красоты и бессмертия. А изумление было вызвано тем, что зритель спрашивал себя, да как же он не видел этой явной красоты каждой вещи мира и его обитателей прежде. Как можно было проглядеть такое?

Казалось, райское зеркало было совершенным. Однако это было не так. Беда была в том, что, как мы уже говорили, оно являло собой прямую противоположность зеркалу троллей. А все, что является прямой противоположностью чему-то другому, с этим чем-то другим связано и зависит от него. Одним словом, эльфийское зеркало, как это ни покажется странно и даже обидно, не могло существовать без зеркала троллей, как, впрочем, и наоборот. Оно не было

свободным. Оно было, как сейчас принято говорить, детерминированным или обусловленным. Вот почему эльфы не могли не создать свое райское стекло, раз уж тролли создали свое. Причем с зеркалом эльфов в дальнейшем произошла история, похожая на историю троллианскую. Эльфы решили поразить обитель зла, ад, в самое сердце и отправились в его глубины, неся перед собой свое зеркало. Но на подходе к самым мрачным этажам преисподней зеркало стало вибрировать и нагреваться все сильнее и сильнее и нагревалось до тех пор, пока внезапно не расплавилось. Поток горячих лучей влился во все подземные родники, бегущие наверх, к земле, и бьющие в источниках, и поэтому, когда теперь из них пьют люди, они начинают почти что видеть все вокруг прекрасным и вечным.

Еще есть и третье зеркало, которое сделали мы, люди. Это зеркало сна. Где и как оно возникло, никто не знает. Каббалист скажет одно, кришнаит – другое, христианин – третье. Но смысл один – именно люди его создали. Сами. Из своих мыслей. И оно было таким крошечным, что было – везде. Потому что самая малость, настоящее ничто, – это когда ее, этой малости, мыслишки там какой или букашки-стекляшки, для всех почти что и нет. Вот именно что для всех. Поэтому зеркало сна было отныне везде. Почему это произошло? Возможно, жизнь без сна была для начинающих уставать от себя людей чересчур живой и сильной. Возможно, они утомились. Или, быть может, им захотелось уйти далеко от своей собственной яви, чтобы потом пережить новое пробуждение, вспомнить, кто они такие на самом деле, и вернуться назад – в прозрачность и обретение друг друга наяву. Может, им захотелось обрести себя, и друг друга, и всех своих друзей, родных и любимых таким образом еще раз.

Что случилось с этим зеркалом, почти никто не знает. Но когда в мире дрогнула буква алеф, зеркало сна взяло такую силу, что встроилось почти без исключения во все человеческие глаза, сердца и головы. Никто, конечно же, никогда не признавал этого, хотя мудрецы всех стран не прекращали об этом твердить, за что их и убивали. Кому же хватит мужества признать, что он проспал наяву всю свою жизнь? (Жене такое сказать обидно, другу – нелепо, встречному – неразумно.) И что все, что с ним происходит, – любовь, путешествия, открытия – происходит на крошечном пространстве зеркальца сна, существующего лишь в условном пространстве его глаз. Куда проще договориться с другим, таким же, как и ты, спящим и видящим мир в своем крошечном зеркальце, и назвать вместе с ним свою жизнь явью. Причем повторять это соглашение не придется – всю оставшуюся жизнь оно будет просто молчаливо подразумеваться и подтверждаться как истина, которую нелепо пересматривать.

А вот этот кусочек из записок одного китайского мудреца я переносу из своего карманного компьютера в тетрадку, где я и веду свои записи о трех зеркалах. Может быть, тебя заинтересуют эти строки:

Откуда мне знать, не раскаивается ли мертвый, что когда-то умолял о продлении жизни? Тот, кто во сне пил вино, проснувшись, плачет; тот, кто во сне проливал слезы, отправляется на охоту. Когда ему что-то снится, он не знает, что это сон. Во сне он даже гадает по своему сну и только после пробуждения знает, что это был сон. Но существует еще великое пробуждение, после которого сознают, что это был великий сон. А глупец считает, что он бодрствует, и доподлинно знает, кто является правителем, а кто пастухом. Как он туп! И я и ты – все мы лишь сон. И то, что я называю тебя сном, – тоже лишь сон. Такие слова называют чрезвычайно странными, и если после десяти тысяч поколений нам встретится великий совершенномудрый, знающий их объяснение, то покажется, что до встречи с ним прошли сутки.

Радость моя, я пишу это так же, как летает вокруг меня стрекоза, – не поучая, не гордясь и не каясь. Я просто напоминаю тебе и, возможно, себе самому о наших разговорах и, может быть, о том, что обратный путь навстречу друг другу всегда – пробуждение. Что наша встреча в будущем, после того как мы отказались от своего прошлого, забыли его и пошли дальше налегке, может оказаться для нас тем самым великим пробуждением, о котором пишет

китайский прозорливец. Что без отказа и встречи заново путь к нашему обретению друг друга неосуществим.

Я сижу на ветке бука и пишу эту страничку. В брючину залез муравей и пробирается вдоль бедра, и от этого мне щеотно. Наверху шумит в солнце листва. Где-то там, внизу, плещет море. Сейчас я прыгну вниз и пойду на пляж. И сейчас ты читаешь этот листок. И все это – одновременно. Я помню тебя – и уже не помню – тогда, когда ты читаешь. К этому времени придет ангел и перекроет нашу память крылом, звонким и глухим, как пощечина. Одна моя знакомая навсегда потеряла память из-за пощечины, которую ей влепил муж, думая, что у нее был еще кто-то. В дальнейшем выяснилось, что это не соответствовало действительности. Я также знаю историю девушки, которая зачала от удара веером. И про мужчину, который от удара по лицу стал человеком-невидимкой. В дальнейшем его присутствие где-то рядом по-прежнему можно было определить, но только по запаху. Потому что после того, как с ним произошла эта метаморфоза, он стал заживо...

Осколки и уколы

Как все мы хорошо помним, два осколка поранили Кая – один вошел в глаз, второй в сердце. Сам факт нарушения телесных границ и проникновения в них, пусть даже частично, иного предмета, обладающего острым окончанием, как бы это сказать – не знаменателен же? – нет, – загадочен и обладает неким фундаментальным свойством. Свойство это мне не хотелось бы означать словом, потому что в этом случае оно сузится до понимания каждым конкретным слушателем именно этого конкретного слова. А речь идет не о слове, а об уколе. Том, который мы переживаем, не успев его оформить ни в какое понятие. Его переживает кожа, а не мозг. Покров, а не интеллект. Поэтому, чтоб не сводить то, о чем идет речь, – укол – просто к слову, я прибегну к простодушному методу перечислений, как это делали затейливые византийцы в своих акафистах, перечисляя про Господа, что он Всеблагий, Дивный, Всесильный, Промыслитель, Вседержитель, Плавающих Кормчий, Превечный и так далее, и тому подобное, а про Деву Марию тоже, что она Всеблагая, Чудес Христовых начало, Невестная, имущая державу непобедимую или даже Благосеннолиственная – целых три корня, на которых растет неухватываемое миром, как Григорий Сковорода, дерево смысла.

Итак, просто перечислим уколы, каковы они были. Два кусочка зеркала – в глаз и сердце Кая, ладно, это мы уже говорили. Какими уколами еще располагает зеркало троллей?

Сидя на щелке здесь, напротив колонн санатория, освещенных солнцем, я вспоминаю историю о принцессе и вязальной игле. Отцу предсказали, что от укола она уснет навеки. Ей, значит, предсказали, потом ее, как водится, от укола прялки или чего там, неважно, берегли не уберегли, укололась, заснула. (Тут, конечно, стоит поразмышлять, чей именно это укол – троллийский или наш, «сновидческий».)

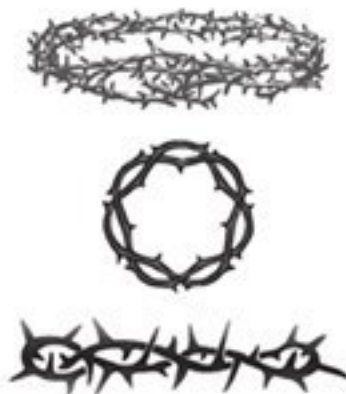
Перечислю элементарные уколы-проникновения, знакомые почти каждому с детства.

Это, конечно же, шприц с чрезвычайно медленно уходящей из стеклянного цилиндрика вам под кожу прозрачной жидкостью. Заноза, которая в виде темной черточки торчит у вас на подушечке пальца или в ладони, и для того, чтобы ее удалить, вас пронзают еще раз, нащупывая прокаленной на огне и продезинфицированной одеколоном иглой какой-то особый зазор подкожной щепки, после чего она, зацепленная за него острым концом, наконец-то извлекается наружу, а ранку прижигают сильно пахнущим рыжим йодом.

На улице это укусы пчелы, причем укус этот возникает чаще всего не как продолжение пчелы, которую ты не видишь, а из ничего, примерно так, как в первой главе Книги Бытия творится мир, которому не было никаких причин твориться, и поэтому до сих пор этот акт переживается как внезапный, захватывающий и ошеломляющий. Я помню, как кричал на лестнице, ведущей от этого же санатория, напротив которого я расположился со своими записями, ведущей вверх, к домам, и сильно заросшей вьющимися розами поверх игры их же собственных теней на светлых ступеньках, как тут кричал мой школьный друг, худой, длинноносый, с выступающими вперед двумя верхними резцами Юрка Сильченко по прозвищу Крысюк. Он взвизгивал от ужаса и непонимания, пляша на площадке между двумя маршами, словно пытаясь схватить в воздухе смысл того, что оставалось ему неведомым, – откуда пришла эта жалеющая душу и спину между лопатками боль. Я тогда первый понял, что случилось, и стал сдирать с него рубашку, и тут же подскочили два курортника – он в белом костюме, с потным лицом и запахом одеколона «Шипр» и жена его в махровой белой шляпе, толстой, как спящий тюлень, увенчанной белой – уже серой от возраста – кисточкой.

Они решили, что я избиваю маленького дохляка, которого я, кстати говоря, очень любил, и набросились на меня. Но я, хоть и опешил, тупо продолжал сдирать с ошалевшего от ужаса Крысюка рубашку, и это было делом непростым, потому что, во-первых, он сам не давался, по-прежнему завывая и отплясывая свой священный танец, а во-вторых, меня пыталась оттащить

от него та потная парочка, причем особенно усердствовал муж в шипре. Но вот рубашка была сорвана, и на жалком, торчащем из узкой спины загорелом позвонке сверкнуло золотом как миг истины или запонка в рукаве длинное тельце осы. Не помню, кто осмелился ее сорвать со спины моего друга – не я ли сам? – но хорошо вижу, как и после этого маленький заморыш продолжает, взвизгивая, исполнять свой нелепый занозистый танец на ступеньках под куполом сплетшихся белых роз, и казалось, что теперь его уже никто не остановит.



Дальше я буду лаконичнее. Прокол опухоли на пальце. Кнопка, положенная шпаной на стул особенно нелюбимой учительницы. Укусы муравья, змеи, комара, пчелы, слепня, москита, елисеевских вертолетов – особого вида гигантских комаров, которые выводились одно время в сырых таинственных подвалах самого знаменитого продуктового магазина Москвы. Спица в рукаве, которой, по рассказу дворовых друзей, недавно на улице убили какую-то женщину: тот, кто убивал, положил руку ей напротив сердца, а второй, тот, что стоял за ним, ударил по выступающему из локтя концу и – насмерть, острый конец прошел насквозь. Куски утеплителя, стекловаты, которую по глупости мы брали в руки.

Бабочка, приколотая булавкой к покрашенной бледно-голубой деревянной стене, долго повисевшая у нас в бараке.

Дама в ателье, схваченная краем любопытствующего детского глаза, различившего всю ее в зашпиленной иглами бесформенной крепдешинової робе и портного, ерзающего перед ней на коленях, что-то, кажется, держащего во рту, не помню что именно.

Острые концы агавы. Колючки какого-то растения в заповеднике Аскания-Нова, которыми запросто можно было проткнуть ладонь насквозь, полированные и словно железные.

Крапива, малина, колючая проволока. Стрекоза, ухваченная за хвост и впившаяся в палец. Рыболовецкий крючок с жальцем.

Морской скорпион. Это когда ты, нырнув с лодки и выстрелив в лежащую на песчаном дне странную узкую рыбку, поднялся наверх к днищу – оно снизу виделось все в сиянии и

окружении солнечных бликов – и показал добычу друзьям, а те шарахнулись от стрелы с насаженной на нее рыбой и заорали в голос: выброси на хер! ядовитая...

Песчинка в глазу, игла хирурга, когда тебе накладывали швы на рассеченную в драке губу.

Когда ты пригласил к себе не предупредив мать и отца, которые двадцать пять лет не встречались, и как они общались, не соприкасаясь, словно на каждом проросли вдруг слои прозрачного целлофана, а потом, когда они ушли, ты ударил по зеркальному трюмо кулаком и осколок распорол тебе запястье.

Гвоздь, внезапно проросший в ботинке, булавки в купленной на ходу, с уличного прилавка у Сокола, рубашке, розовый шип при попытке добыть розу без ножниц.

Ночной стог сена под Абрамцевом, где мы с тобой пытались спрятаться от ливня и хлеставших по полю молний, и я исколот руки, разрывая его сбоку, словно, роя ход в чрево левиафана через бок и выдирая кишки, наткнулся на чешую.

Все это были уколы магических зеркал троллей и фейри. Частично – людских.

Так, через все эти бесчисленные и утомительные проникновения, их код входил в меня словно татуировка или строчка швейной машинки. Естественно, проникая под кожу и оставляя там следы, они год за годом изменяли и деформировали при помощи своей – мою внутреннюю первоначальную звездно-обморочную и нежную, как у воды, структуру, вышедшую из рук эфирного и лунного ангела-по-небу-полночи.

Татуировка. Пирсинг. Аборт, разумеется.

Взорвавшаяся на старте в костре самодельная ракета из медного карандаша, осколок которой попал тебе в палец и вышел – к великому твоему удивлению – лишь через три дня, когда в школьной уборной ты стукнул приятеля кулаком в плечо. На подушечке пальца до сих пор можно различить лунку. До сих пор ты заново переживаешь озноб при виде неожиданно высывающегося из тебя инородного тела, о котором ты не подозревал. Оно было круглое и латунного цвета, величиной с крышку кнопки. Так внезапно рожают, раздвинув ноги, не ребенка, а хлопок в ладоши, не ведая о часе осеменения.

Осколки и уколы изнутри

Многие из уколов и проникновений окультурены и приведены к архетипам. Это – конечно же и прежде всего – знаменитая пестрая стрела Амура, пронзающая печень, – не сердце, как думают многие, нет. У древних она пронзала то, что было ближе к земле, к области пола, а у нас, хотя не пронзает больше ничего, но существует все же в виде рисунка с сердцем на заборах и асфальте. В жанре граффити не видел ни разу. Да и на заборах его что-то не видно – наверное, ушло уже давно, а я и прохлопал. Сейчас все колющее задвигается за задники гламурного театра или смыкается в аккуратное серебряное колечко пирсинга. Сам акт пронзания – открытого жала – вытеснен массовым сознанием из сферы обихода, камуфлирован, обезвожен.

К внутреннему пронзанию относятся также муки совести, ее укоры, а как же. Об этом чуть позже.

Существует также «культурное» пронзание, которое, несмотря на явную свою метафоричность, все же неоспоримо свидетельствует о том же процессе – проникновении острой вещи сквозь некий непререкаемый защитный покров тела и души, внедрении инородного предмета во внутреннюю область, для него запретную, а для тела и души – сопряженную (понятно, что разумея именно факт проникновения) со смертельным риском.

В Библии Еве было сказано, что змей, совративший ее и первого человека, будет жалить их в пяту, но голова его сокрушится от пяты же одного из ее потомков, читай, Иисуса из Назарета.

Тем не менее грехопадение, конечно же, особенно в народном воображении, связано не столько со вкусом неведомого плода – кто сказал, что яблока? – тающего во рту, сколько с проникновением мужского тела в женское (и это явно народная версия) и жала (зуба) змеи в пяту Евы и ее потомства (версия, неявная для народа, но притягательная для вымирающей интеллигенции). Итак, два вторжения, два укола – в пяту и в пах. Именно с них начинается, по Библии, история человеческой цивилизации и культуры. И не только начинается, но и закладывается профетическим кодом в дальнейшее, предускоряя ход истории и бег времени к тому ее рубежу, когда глава змея-горыныча, змея-зла будет раздроблена пятой Мессии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.